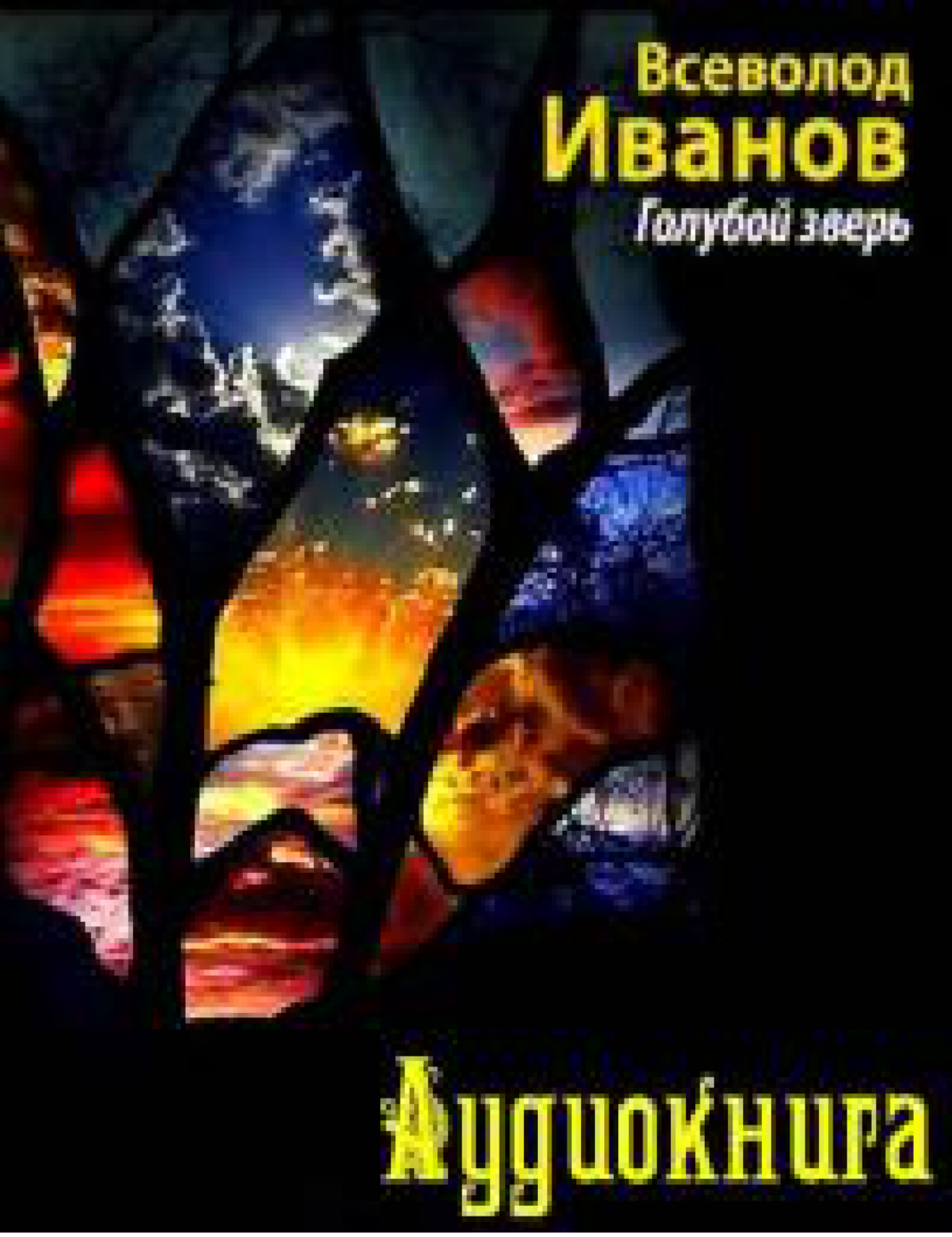
Всеволод
Иванов
Голубой зверь
Аудиокнига

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

От автора. Здесь я меньше всего буду писать о том, что хотел выразить в стихах. Я обойду молчанием кризисы молодости, да и последующих лет, все то, что философы называют «я-переживанием» (в бахтинском значении слова). Это было у многих, и не хочется повторяться. Я буду писать о вынесенном наружу, об относящемся к тем, кто на меня повлиял, о случившемся в мире, меня принявшем и вырастившем, том мире, который все еще меня терпит.

•

ВЯЧЕСЛАВ ВС. ИВАНОВ

ГОЛУБОЙ ЗВЕРЬ

(Воспоминания)

1

В детстве мне снился сон. Я с какой-то экспедицией оказываюсь в густом лесу. То ли это тропические джунгли, то ли тайга. Мы проходим сквозь чащу, и вдруг за стволами деревьев открывается река. У водопоя неизвестный зверь в голубом сиянии. Мы его спугнули. Но сверкающий ореол настолько ослепителен, что я долго его помню.

Много лет спустя я прочитал среди вещей моего отца Всеволода Иванова его ранний рассказ о синем зверюшке. Мог ли я случайно услышать это сочетание слов в разговорах взрослых? Скорее всего, нет. Тогда остается гадать, могут ли передаваться по наследству те склонности, от которых зависят образы сновидений и поэзии (теперь, после всех своих занятий мозгом и бессознательным, я бы сказал: символика правого полушария).

Но что бы я ни придумал потом по поводу происхождения этого, сна, его голубое сияние во мне не гасло. Прочитав Новалиса, я поразился сходству с его цветком. Мой голубой зверь забредал в зоопарки первых увлечений женщинами и мерещился в дали стихов, которые хотелось им посвятить.

С годами становилось все яснее, что главное заключается в прекрасном. Я не знал еще ни причины, по которой Владимир предпочел византийскую веру всем другим (по летописи, греческая церковная служба поразила его посланцев своей красотой), ни развития этого эстетического критерия как

основного у Достоевского (в формуле, ставшей хрестоматийной, о спасении мира) и Иннокентия Анненского. Красотой построения, как музыка, всегда так притягательна была математика, а другие науки в той мере, в какой и в них передавалась гармония вселенной и жизни. Оттого в молодости так потрясли открытие двойной спирали Криком и Уотсоном и дешифровка Вентрисом и Чедвиком микенского линейного письма Б (не забыть день, когда я прочитал первую их статью в только что пришедшем новом журнале в академическом читальном зале истории; я достаточно был подготовлен предыдущими занятиями, чтобы сразу понять размеры открытия, и было кинулся делиться радостью с проходившим мимо известным знатоком античности философом Я. Э. Голосовкером; тот меня осадил: «Лингвисты вечно что-нибудь придумают, вспомните Марра!»).

В том, что я буду ученым, у меня с детства не было сомнений. Я не знал только, чем именно я буду заниматься. Я увлекался то палеонтологией (случайно уцелевшие альбомы полны рисунков динозавров, как нынешние популярные издания), то химией. К. И. Чуковский, глядя на мои пробирки, дивился тому, какие опасные игрушки теперь дарят детям; я наносил ущерб и хозяйству семьи: когда двоюродная сестра, работавшая в химической лаборатории, привезла по моей просьбе серной кислоты, я извел с килограмм сахара, получилось настоящее извержение вулкана. Любимым чтением стала книга Дарвина о его путешествии на корабле «Бигль». Ту же двоюродную сестру я донимал вопросами о том, куда же дальше пойдет эволюция человека, развитие ведь не может остановиться, если мы соглашаемся с Дарвином. Она и брат подсовывали мне какие-то подложные ископаемые, заставляя рыть землю, чтобы их найти. Более сердобольные люди дарили (или, как Б. Пастернак, только обещали подарить) древние раковины-аммониты, которые можно было увидеть в земле на прогулке в Подмосковье. Волновала география; разглядывание карт стало любимым занятием. Наука с самого начала связывалась с опасностями, которые придется изведать в путешествиях. На это я был готов, и случившееся потом подтвердило их реальность, когда в экспедиции к кетам — загадочному народу Западной Сибири матросы, высаживая нас с корабля на Енисее в полночь, по ошибке перевернули шлюпку (нас не отвязали от судна, а его винт работал). Я всплыл подо дном большой лодки и ощупывал его снизу, постепенно двигаясь в воде к борту, но все боясь расстаться с рюкзаком, тянувшим ко дну реки: в нем были карточки с кетскими словами, и сейчас своим видом напоминающие о тогдашнем одномоментном приближении к смерти. Поставлявший души мертвых как пищу

низверженной с неба Хоседэм кетский черный шаман, к которому на остров Комса мы пробирались, вероятно, радовался нашей неудаче, если не тщился вызвать ее своими заклинаниями.

К чему я меньше был готов, это к опасностям социальным, стоящим на дороге ученого. Но я читал уже об инквизиции и о горьких судьбах многих изобретателей. В тогдашнем сокращенном издании Рабле (как, впрочем, и в других книгах) я пробовал вникнуть и в примечания, что-то пытаясь понять в его эпохе и подходя к книге скорее всерьез как к историческому свидетельству, хотя мне и нравился юмор Панурга. В то, что сейчас бы назвали смеховой культурой человека играющего, а тогда мы попросту считали юмористической литературой, в чтение Аверченко и особенно Зощенко меня втягивали старшие брат и сестра, подтрунивавшие над моей слегка — или достаточно? — надутой детской ученостью и педантизмом.

Потом начались (перед самой войной, в начале лета 1941 года) стихи и постепенно затопили всю жизнь.

Но здесь я меньше всего буду писать о том, что хотел выразить в стихах. Я обойду молчанием кризисы молодости, да и последующих лет, все то, что философы называют «я-переживанием» (в бахтинском значении слова). Это было у многих, и не хочется повторяться. Я буду писать о вынесенном наружу, об относящемся к тем, кто на меня повлиял, о случившемся в мире, меня принявшем и вырастившем, том мире, который все еще меня терпит, хотя, говоря словами Пастернака:

Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех.

БИБЛИОТЕКИ В МОЕЙ ЖИЗНИ

2

Я вырос среди книг. В самом бук-вальном смысле (от английского book «книга» и от русского бук-инист). Отец был страстным книжником (я сам не так, меня занимает не книга, а ее содержание, и мои книги — следы моих занятий). В годы перед моим рождением (я родился в 1 929 году) у отца были деньги: во МХАТе шел его «Бронепоезд» и вышли уже первые собрания его сочинений. Он приходил в букинистический магазин и просил прислать ему целиком «весь тот шкаф с книгами». Букинисты его хорошо знали и подбирали то, что было ему по вкусу. Когда мы переехали из купленной отцом избы, снесенной при реконструкции Старой Мещанской, в писательский дом в

Нащокинском переулке (потом улица Фурманова; и этот дом снесли, когда раковой опухолью по Приарбатью и Гоголевскому бульвару расползлись здания Пентагона), в тот дом, где арестовали Мандельштама и где жила вернувшаяся из заключения вдова Андрея Белого К. В. Бугаева (я познакомился с ней много позже, она лежала парализованная, но память оставалась четкой), отцовские книжные полки стали продавливать не слишком прочные перекрытия тогдашней стройки. Чтобы пол окончательно не рухнул увезли грузовик книг. Отец потом жалел о довольно полном собрании материалов по новейшей истории России; уцелевшие газеты первых лет революции и другие издания я дал читать А. И. Солженицыну, когда он начал писать «Красное колесо». Но и остававшихся после вывоза на грузовике книг хватило потом на два огромных кабинета в Москве и на даче и на шкафы в других комнатах. С частью книг отцу пришлось расстаться начиная с предвоенных лет, когда нужда вынудила их продавать: его все меньше печатали, жить было не на что. Мама с утра предупреждала меня, что у него будет плохое настроение, опять нужно продавать книги. Из людей, живших торговлей книгами, я близко знал Крученых, часто к отцу приходившего, особенно в годы войны (тогда за ужином у нас он меня поразил рассказом о том, как он себя поддерживает, разгрызая на завтрак кофейные зерна). Крученых говорил, что жизнь состоит из двух половин: во время первой мы надеемся покорить мир, а во второй перестаем быть Александрами Македонскими. Мне довелось его увидеть уже в этот второй период. От футуризма оставалась эксцентричность и резкость движений и слов. Ворвавшись в мою комнату, где отец сложил предназначенные для продажи в музей Маяковского первые издания редчайших иллюстрированных стихотворных сборников десятых годов, Крученых тут же распахнул форточку: «Что вы сидите без воздуха?!»

Когда мне было шесть лет, я заболел, меня не просто уложили, а привязали (за руки и за ноги) к постели, и очень надолго (считалось, что это — костный туберкулез, оттого начальное школьное образование у меня было домашним, болезнь спасла меня от счастливого детства советских школьников). Возле моей кровати стала вырастать гора книг, с каждым месяцем менявшаяся. Что и о чем читать, выяснялось из разговоров с отцом. Он сам читал очень много и быстро, эту черту я у него перенял. В своем эссе в сборнике «Всеволод Иванов — писатель и человек» я писал уже особо о широких научных интересах отца, предопределивших мои ранние занятия. Приведу здесь только один пример.

Отец увлекался чтением популярных книг английского астрофизика Джинса, как и многие наши близкие знакомые, среди них Борис Пастернак, обсуждавший со мной в последние годы своей жизни замечание Джинса о разреженности материи и роли пустоты в мире, и философ Валентин Фердинандович Асмус, в моем детстве много со мной возившийся (он, например, одолжил мне на лето свой телескоп). Отец и мне давал читать «Движение миров» и «Вселенную вокруг нас». В разговорах со мной он не раз возвращался к поразившей его мысли Джинса о значимости центра Галактики. Только в недавние годы подтвердилось, что в самом деле это одно из основных свойств Галактик: в их центрах сосредоточена масса незримого для нас темного вещества. Об этих новейших открытиях я читаю как о продолжении моей беседы с отцом почти шестидесятилетней давности. После разговоров с отцом и В. Ф. Асмусом астрономия и связанные с ней проблемы космических полетов и внеземных цивилизаций стали очень меня занимать, я читал Циолковского и книгу Перельмана о межпланетных путешествиях даже с большим интересом, чем «Аэлиту». Случайно сохранилась книжка о жизни на Марсе (тема, ставшая настолько популярной, что ее высмеивали эстрадники). Там на каждой странице есть сделанные мной в десятилетнем возрасте заметки о том, что так бурно продолжает обсуждаться в связи с результатами работы «Викингов».

Когда мне уже разрешили двигаться, я проводил большую часть времени среди отцовских книг и неплохо их знал. Брат, обозлившись, как-то назвал меня «книжной крысой». Даже естественные для парня воинственные интересы (еще на Нащокинском наш сосед Матэ Залка, будущий генерал Лукач из Интернациональной бригады в Испании, научил меня стрелять из револьвера тайком от моей мамы, с ужасом потом от него узнавшей о милитаристских успехах пятилетнего сына) претворились в чтение справочника военно-морских судов (я знал наизусть водоизмещение каждого линкора) и многочисленных трактатов по военному делу, прежде всего Клаузевица и Шлиффена. Меня увлекала идея «Канн», то есть окружения войск противника, оттого я хорошо понял стратегический замысел Жукова, читая в газетах о Сталинградском сражении и удивляясь тому, как он переиграл немецких генералов, не увидевших классическую шахматную позицию, подробно проанализированную в их же первоклассных учебниках (кстати, шахматистом я был очень плохим, проиграл множество партий В. Шилову, будущему собирателю записей голосов русских поэтов, который терпеливо приходил играть со мной, пока я болел).

«Войну и мир» я впервые читал, сверяя рассказ о наполеоновских войнах с картой боевых действий.

С отцовскими книгами связаны не только годы детских радостей по поводу недетского чтения. Из-за них пришло и ощущение большой потери, непрочности и хрупкости нашей культуры и нашего знания. Значительная часть библиотеки (в том числе собрание книг по истории православной церкви, связанное с работой отца над романом «Кремль») сгорела во время войны на даче в Переделкине в Городке писателей. Дача была занята нашими военными, штабная девица включила электроприбор (утюг, наверно) и уехала в Москву. Когда мы вернулись из эвакуации весной 1943 года, на месте большой сожженной дачи на кирпичах фундамента еще валялись обгоревшие кожаные переплеты многих старинных русских изданий (у отца была большая их коллекция).

С тех пор пожар библиотеки, повторение древней Александрийской катастрофы, преследует меня как врубелевский демон, как образ апокалиптического будущего. Когда ждешь несчастий, они случаются. Я очень любил библиотеку Академии наук в Ленинграде, всегда в ней занимался, приезжая в этот город, для меня многие годы воплощавший вечно к себе манящее совершенство (разумеется, не в архитектуре здания библиотеки, достаточно уродливого). Особенно мне памятно лето, когда в Ленинграде происходила очередная Международная встреча ассириологов, отмеченная докладом Шмандт-Бессера, замечательной исследовательницы абстрактных символических фигурок, на заре древневосточной цивилизации применявшихся для учета: по ее мысли, из них произошло письмо. В перерывах между заседаниями я занимался токарскими текстами VIII в. после Р. Х. из Китайского Туркестана (в их языке обнаружено свидетельство самых далеких миграций индоевропейцев на Восток, отчего я ими давно заинтересовался). Из изумительного собрания бывшего Азиатского музея на Дворцовой набережной, где в Институте востоковедения хранятся еще неизданные буддийские токарские тексты (впервые их нашел сто лет назад русский консул в Кашгаре Петровский, а потом несколько специальных экспедиций), я приходил в библиотеку Академии наук и читал старые журналы, позволявшие мне понять, как — с трудом и ошибками — делались первые попытки дешифровки этих текстов. Давно не было чувства настолько полного погружения в самый ход научного познания. А следующий раз я приехал в Ленинградский университет оппонентом на защите диссертации об этрусских надписях, над толкованием которых я бьюсь уже несколько десятилетий. Не зная о пожаре в библиотеке,

я оказался в ее здании, когда оно еще дымилось. Я вдохнул в себя этот чад и горький запах, сразу напомнивший переделкинские обгорелые переплеты. Оттого когда я в первый раз читал по-итальянски «Имя розы» Умберто Эко и потом перечитывал русский перевод, к журнальной публикации которого писал предисловие, сцена пожара в библиотеке была мне особенно тягостна. Во мне нет пиромании моего покойного друга Андрея Тарковского, норовившего в каждом фильме что-нибудь сжечь: если не человека, то корову или, по меньшей мере, дом. Представление об огне, пожирающем книгу, из самых для меня мучительных. Насколько практичнее был предмет моих многолетних занятий — клинописная древневосточная глиняная книга, от огня только укреплявшаяся. При мне приезжий ассириолог убеждал сотрудников Пушкинского музея изобразительных искусств полизать одну из хранящихся там во множестве драгоценных староассирийских глиняных табличек, чтобы убедиться, сколько в ней соли. Рядом с музеем сделали водный бассейн, влажность повысилась, таблички могут разрушиться. По словам ассириолога, спасти их может только пожар (если не делать специальных печей для обжига, как в Британском музее).

3

Московские библиотеки были главным содержанием жизни в университетские годы и весь следующий отрезок времени, посвященный лекциям и науке. В Ленинскую библиотеку, тогдашний наш клуб, воспетый в романе Пятигорского «Философия одного переулка», попасть было трудно, с утра надо было занимать очередь, зато сколько нового узнавалось сразу как входишь в зал; особенно вдохновлял список текущих иностранных поступлений (даже в самые гнусные годы остававшийся обширным). Именно с Ленинской библиотекой уже в ту пору, когда я мог заниматься там в более удобном научном зале, связана занятная история, объяснения которой у меня пока нет. Я доделывал большую работу о культе близнецов в Африке для ленинградского «Африканского сборника». Применительно к отдельным племенам, странам, группам языков на эту тему писали многие. Мне нужно было успеть к определенному сроку, а трудность была в ограничении числа книг и журналов, которые можно было в Ленинке заказать за один раз. С грустью размышляя о том, что это меня тормозит, я случайно взглянул на стопку книг, лежавшую на полке рядом с моими. Они были приготовлены для другого читателя, чей номер билета следовал за моим, оттого книги были рядом. Все они были на нужную мне

тему. Я договорился, чтобы мне их дали. Пока я их читал, заказавший их читатель не приходил. На следующий день и моя, и соседняя стопка обновились, обрадованный помощью неизвестного, продолжавшего заказывать необходимые мне издания, я работал все быстрее. Так длилось неделю, пока я не закончил статью и не отослал ее в срок в Ленинград. Я так и не узнал, кто был моим помощником.

Когда я писал кандидатскую диссертацию, в один день приходилось иногда обойти несколько библиотек, нужные иностранные книги, сборники и журналы были по ним рассеяны. Мне помогало имя отца. Удавалось открыть абонемент на него, и тогда можно было брать книги домой и продолжать заниматься ночью, когда читательские залы не работают.

В шестидесятые годы и книги, и люди, мне близкие, были сосредоточены в Институге востоковедения, в кабинете Ю. Н. Рериха, который до того был моим учителем тибетского языка. Он сочувствовал мне и В. Н. Топорову, помог нам издать наш очерк санскрита, вызывавший у начальства сомнение своей структуральной ориентацией. Этот тихий воспитанный человек умел добиваться своего. Помню, как на открытии выставки картин своего отца Юрий Николаевич, говоривший с индийским послом К. Менoном, прервал беседу и участливо расспрашивал меня о судьбе нашей рукописи. Ю. Н. Рерих умер вскоре после возвращения из Индии в Россию. Сердце не выдержало непривычных волнений советской жизни, особенно обманов и лжи по поводу так и не открывшегося музея его отца. Полотна, привезенные им для этого музея, разбросали по разным картинным галереям страны, что и было главной причиной сердечного приступа у Юрия Николаевича.

После смерти Ю. Н. Рериха все его книги составили библиотеку кабинета его имени, где занимались его ученики и сотрудники. Там я нашел все мне нужное для нескольких работ, относившихся к языкам и истории Бактрии, Китайского Туркестана и сопредельных областей Центральной Азии. В книге «Чет и нечет» я писал о частной библиотеке как непосредственном продолжении мозга человека, как бы его части. Занимаясь в кабинете Рериха, я продолжал общаться с Юрием Николаевичем и после его смерти самым прямым образом: он говорил со мной подбором книг на разных восточных и западных языках. Его буддийскому сознанию эта мысль была бы близка.

Некоторые другие хорошие мои знакомые тоже сохранились в совокупностях своих книг. Я вспоминаю собрание русских поэтов И. Н. Розанова, необычайного энтузиаста изучения стихов, когда-то моему отцу и мне показывавшего свои сокровища. Когда умер

отчим моей мамы, историк права Борис Иванович Сыромятников (он участвовал в 1917 году в предпарламенте как кадет; о его воинствующем отрицании большевиков у нас дома было принято говорить с юмором, цитировали его слова: «в их метро я ездить не буду»), книжные магазины по цензурным причинам отказались купить некоторые из философских книг, ему принадлежавших. Их отдали мне. Так, совсем молодым я узнал о Бердяеве, С Булгакове и особенно о Шестове, которого не устаю перечитывать. Многие годы он был для меня образцом независимого скептического мыслителя, склонного к сомнению (таких нам в России недостает, недаром столько людей без пересадки попали из коммунизма в православие, лишь бы заполнить вакуум).

Библиотеки располагают думать о жизни и смерти. Ко мне попадали книги, как части души, таких людей, погибших в сталинское время, как философ Г.Г. Шпет. Один мой друг с математическим уклоном посмотрел на мои книги на даче в Переделкине (он не знал, что это только часть библиотеки, теперь разбросанной по разным домам, странам и континентам) и заметил с явным укором, что, когда он их пересчитал грубо (помножив число полок на число книг на каждой полке в среднем), их оказалось гораздо больше, чем я смогу прочитать за жизнь. Он не принял во внимание, кроме всего прочего, того, что филологи пользуются словарями, грамматиками, да и старыми текстами особым образом: к одному месту мы обращаемся так часто, что зазубриваем его наизусть незаметно для самих себя, а другие страницы не раскрываем вообще.

Я всегда близко знакомился, как с домочадцами или с собаками, с книгами своих друзей настолько, что меня раздражало, если что-нибудь переставлялось на полках. Но я занимался и древними частными библиотеками, например, ассирийскими. В них перед гибелью культур Месопотамии не было никакой художественной литературы, одни гадания о будущем, и всегда с пессимистическими ответами. Дурные предсказания оправдались. Не правда ли, поучительно? Нетрудно накликать беду. Продолжать свое дело сложнее.

За несколько тысяч лет библиотеки и архивы очень мало изменились. Уже в древней Эбле (город с семитским населением в Северной Сирии, где двадцать лет назад нашли самый большой архив Древнего Востока) за четыре с половиной тысячелетия до нас обожженные глиняные клинописные книги лежали на деревянных полках так, как теперь печатные издания в научном зале бывшего Румянцевского музея, то есть Ленинской библиотеки. За три тысячи лет мы недалеко ушли и от изобретенного тогда алфавитного способа упорядочивания книг.

Я очень давно стал задумываться о более совершенных способах представления знаний. Моим размышлениям на эту тему способствовала работа в Лаборатории электромоделирования. Ее заведующий талантливый инженер Гутенмахер думал о применении компьютеров (как тогда громоздко говорили, «электронных вычислительных машин», сокращенно ЭВМ) с очень большой быстродействующей памятью. Мой друг математик В. А. Успенский и я начали работать в этой лаборатории в 1957 году. Не состоя в штате, я заведовал там небольшой группой лингвистов. В том же году на совещании о будущих «информационных машинах» (сейчас бы их окрестили еще более расплывчато в терминах искусственного интеллекта) я читал доклад о принципах построения компьютерных хранилищ знаний, через год напечатанный по-русски, а потом дважды по-английски и по-китайски.

Тогда это было еще утопией, но первые (пока очень робкие) шаги в использовании компьютеров в библиотеках (преимущественно только для автоматизаций каталогов) и, главное, в установлении связей между ними стали делаться в мире везде, кроме нашей страны. Отставание было большим. Меня это настолько заботило, что я включил соответствующий пункт в свою избирательную программу на депутатских выборах весной 1989 года. Надежда чего-то добиться в этой области не покидала меня и тогда, когда я осенью того же года поддался на уговоры своего покойного друга о. Александра Меня и некоторых сотрудников Библиотеки иностранной литературы, которые убеждали меня выставить свою кандидатуру при выборах ее директора. За четыре года, что я был директором этой библиотеки (до осени 1993 года), мне мало удалось сделать для воплощения замыслов компьютерной энциклопедии. Пока речь идет обычно только о замене человеческой работы компьютером по отношению к традиционным, веками сложившимся способам упорядочить списки книг. Еще далеко до того, чтобы передать компьютерам весь запас наших знаний и даже поручить им поиск выводов из уже известного, как это нам мечталось в лаборатории Гутенмахера (машинные доказательства теорем пока мало интересны). Я все еще не теряю надежды на то, что эта задача, как и другие, с ней связанные опыты соединения разных обрывков нам мерещившегося целого — науки и культуры как единства, — вероятно, будет осознана как первостепенная в будущем веке.

Я впервые попал в Библиотеку иностранной литературы еще в студенческие годы, а потом часто, почти ежедневно занимался в ней, когда был аспирантом. Это было одно из главных книжных окон в Европу. По абонементу отца я брал книги домой из

книгохранилища, помещавшегося в здании церкви в самом центре Москвы (по соседству с домом К. Чуковского, которого я там встречал). Тогда библиотекой заведовала основавшая ее в начале двадцатых годов Маргарита Ивановна Рудомино; ее имя библиотека теперь носит (это одно из немногих достижений времени моего директорства). Рудомино с самого начала встречала почти непреодолимые трудности. Рассказывают,' например, что ее вместе с книгами выселял нарком просвещения Луначарский. Его жена балерина Розенель захотела жить в помещении библиотеки и, по слышанному мной рассказу, запустила в стену комнаты блюдом с подаренной ей свежей клубникой, когда ее просили повременить с переездом. Но М. И. Рудомино умела выходить из трудных положений и за полвека своего управления библиотекой собрала несколько миллионов хороших изданий. Она построила для библиотеки удобное новое здание, откуда Рудомино вытеснила дочь премьера Косыгина, захотевшая занять ее место: продолжательницы дела Розенель были более удачливы. Я познакомился с Рудомино до этого, в тяжелые годы, когда она помогала многим, кому по анкетным причинам трудно было устроиться на работу. Уже директором я вместе с моей заместительницей и помощницей Е. Ю. Гениевой (теперь меня заменившей в этой должности) успел побывать у Рудомино перед самой ее скоротечной болезнью и смертью. Мы заручились ее поддержкой наших замыслов.

Основное, что за последние годы удалось сделать для библиотеки, — продолжить пополнять ее фонды, несмотря на оскудение государственных субсидий. Самый богатый дар мы получили от амстердамской Библиотеки герметической философии. С этим замечательным книжным собранием и его основателем Ритманом мы познакомились достаточно случайно. Уже после моего избрания директором библиотеки я в феврале 1990 года читал лекции по русской поэзии начала XX века в Амстердамском университете. Амстердам — город книжных магазинов. Я давно научился тому, что букинист может заменять библиотекаря; в студенческие годы, когда денег на покупку книг было мало, я часто простаивал у прилавка в почти всегда пустой Академкниге, читая новые издания. В Амстердаме я погрузился в богатства его книжного мира, соперничавшего с музеем, где можно было лист за листом доставать из папок и разглядывать гравюры Рембрандта. Один из букинистических магазинов по соседству со зданием славянского факультета университета отличался хорошим подбором оккультных сочинений. Я разговорился с хозяином, и он сказал мне, что еще больше я найду в специальной библиотеке, этому предмету посвященной.

На канале Бломен- грахт рядом с музеем Анны Франк ее мне помогла разыскать библиотекарь славянского факультета, с которой мы к тому времени подружились. Я ходил заниматься в Библиотеку герметической философии регулярно. Меня давно интересовал английский философ начала XVII века Роберт Фладд, придворный врач английского короля, издававший свои обширные латинские трактаты в Германии. Читая эти старопечатные тома в собрании Ритмана, я снова убеждался в том, как научно-технический переворот XVII века связан с предшествовавшей ему мистической преднаукой. Я уже догадывался об этом раньше по своим занятиям филологическими, историческими и философскими трудами Ньютона. Их до сих пор не полностью напечатали и мало изучали (исключением 50 лет назад — задолго до недавних специальных книг на эту тему — явилась статья нашего ученого-энциклопедиста С. Я. Лурье, египтолога, исследователя мифа об Эдипе, историка античной математики, чьим «Письмом греческого мальчика» я зачитывался в детстве). А на самом деле можно показать, что, вопреки общепринятому, два аспекта занятий Ньютона — физический и историко-богословский — не противостояли, а помогали друг другу; напомню, что он первым использовал даты солнечных затмений для проверки библейской хронологии, доказав ее достоверность. Амстердамские чтения открыли мне, насколько философская терминология другого зачинателя современного математического знания — Лейбница уходит корнями в оккультную традицию. Из последней, в частности, им заимствован термин «монада» и отчасти самое это понятие основной замкнутой единицы, нужной для описания вселенной. Неверно было предположение, будто научно-техническая революция началась с того рационалистического перехлеста, которым в следующем веке гордилось Просвещение. Наоборот, на примере тех, кто первым основал это движение, — Ньютона и Лейбница — мы видим и роль иррационального начала.Ритман познакомил меня с букинистом, помогавшим ему создавать его библиотеку. У того в книжном магазине три этажа. Наш разговор начался на верхнем этаже, где собраны драгоценные редкие издания, под стать томам библиотеки Ритмана. На втором этаже — современная литература, исследующая гностицизм и его ответвления. На первом этаже — пустяки на потребу широкой публике. Эти три этажа есть не только в амстердамском книжном магазине, но и во всей этой области оккультных занятий, сейчас и у нас ставшей популярной. Из них мы часто знаем только первый. Букинист подобрал хорошую коллекцию (преимущественно книг со второго этажа, в

России в недавнее время малоизвестных) общей стоимостью в сто тысяч долларов. Ритман подарил ее нашей библиотеке.

Между нашими библиотеками завязались тесные отношения. Весной 1993 года мы устроили вместе с другими большими библиотеками России и ритмановской Библиотекой герметической философии совместную выставку. Она была посвящена пятисотлетней истории гностических исследований в Европе и связанным с ними изданиям московского розенкрейцеровского кружка последней четверти XVIII века. Тираж некоторых из этих русских книг был истреблен (сожжен — опять же старая моя травма!) в годы перед арестом Новикова, но считанные их экземпляры остались, и впервые после стольких лет официальных и фашистских поношений масонства можно было показать им достигнутое всем интересующимся (их было не очень много). Я увлекался Новиковым и его журналами в первые университетские годы. Когда я писал предисловие к каталогу выставки, мне удивительно было снова увидеть, как много могут сделать несколько одаренных русских людей за короткий им отпущенный срок и как безжалостно все их начинания пресекаются властями. И все же сделанное сохраняется и рано или поздно (но иногда спустя целых два века, как в случае переводов мистика Я. Беме, сделанных розенкрейцером Гамалеей) доходит до исследователей.

За время моих поездок за границу, ставших возможными после реформ, нашлись и другие иностранные библиотеки, которые вызвались нам помочь. Директор библиотеки Технического университета Берлина (тогда еще Западного, хотя стена уже была разрушена) предложила мне отобрать для нашей библиотеки все нужные нам книги из огромного собрания дубликатов прекрасных изданий преимущественно 20-х годов нашего века. Я работал там целый день, мы вдвоем с директором Берлинской библиотеки, не затрудняя ее сотрудников, дружно перекатывали нагруженные мной тележки с книгами. К концу дня я вспомнил, что, таская толстые портфели, я часто думал: филология (да и другие гуманитарные науки, без книжного оснащения немыслимые) — это прежде всего физический труд

Не буду дальше удлинять перечень наших благодетелей. Самым главным достижением была бесплатная «книжная помощь» России, организованная английскими издательствами и лондонской филантропической организацией «Сигналы», избравшей меня своим председателем. В общей сложности несколько сот тысяч (всего предполагался целый миллион) новых книг было послано безвозмездно Библиотеке иностранной литературы и через нее другим библиотекам России, в том числе

и таким провинциальным хранилищам книг, где до того было очень мало литературы на иностранных языках или она просто отсутствовала. И наши библиотекари трудились самоотверженно, а высокопоставленные чиновники (как тогдашний министр культуры Губенко, на которого мне пришлось по этому поводу наорать самым нецивилизованным образом) не помогали, а то и мешали в организации перевозок, которые были нашей частью всего дела.

Работая директором библиотеки, я столкнулся с такими сторонами нашей жизни, которые иначе бы мне не открылись. Когда я приступил к своим обязанностям, партия еще была у власти. О неотложных делах пришлось говорить с секретарем райкома партии Жуковой. Когда я сказал ей, что библиотеке не хватает места, а многие соседние дома на Ульяновской улице пустуют, она отозвалась: «А вы заплатите валютой, дадим вам дом». Я встречал и таких чиновников, которые пытались отнять у библиотеки ей принадлежащие здания, отдав их мошенникам. Передо мной проходили разные действующие лица. Одни, как патриарх Алексий, передавший библиотеке во временное пользование один из принадлежавших церкви домов на Ульяновской улице (за это мы обязались его реставрировать, и уже это делается), нам охотно помогали, другие, как секретарь райкома Жукова, с нами враждовали (эта же Жукова пыталась прмешать присвоению библиотеке имени Рудомино). Был и помощник районного прокурора, задумавший по чьим-то доносам (и, как он говорил, по распоряжению Генерального Прокурора Степанкова) завести на меня уголовное дело и вызвавший меня для допроса.

Когда я только раздумывал, принять ли приглашение работать в библиотеке, меня отговаривала Т. Б. Князевская, знавшая меня по Совету мировой культуры Академии наук (я ведал там Комиссией по комплексному изучению творчества). Она мне говорила: «Вы согласитесь, а в библиотеке протечет крыша, и вы должны будете заниматься этим, а не наукой». Редко плохие прогнозы бывают настолько точными.

В первый же день моего директорства пришлось заниматься протекшей крышей и увольнять хозяйственника, за это ответственного (кстати, потом крыша не протекала; если пользоваться модным жаргоном, «крыша поехала» позднее у наших начальников, переставших помогать культуре). Может быть, в этом и состоит охрана культуры: не риторический зажженный свет, уносимый в глубину пещеры от грядущих гуннов, а забота о крыше, чтобы не протекала? Все эти годы мы занимались спасением накопленного Рудомино достояния.

Оказалось, что сделать можно много. Это был как бы семинар по историческому оптимизму, совсем не в духе времени.

Начиная с 1990 года я связан и с другим большим мировым книгохранилищем — Библиотекой Конгресса в Вашингтоне. Ее директором несколько лет назад стал Джеймз Биллингтон, известный знаток истории русской культуры, автор книги «Икона и топор» (я ее постоянно рекомендую своим студентам, когда читаю им лекции с обзором тысячи лет русской культуры, а в нашей официальной советской печати в свое время за нее Биллингтону досталось). Мы с ним подружились еще в шестидесятые годы, когда он провел в Москве несколько месяцев. Мы познакомились на кухне у Н. Я. Мандельштам (тогда я бывал у нее очень часто, встречая там друзей: прекрасного художника В. Вейсберга, писателя В. Шаламова, польского манделыптамоведа Р. Пши- быльского) и потом много раз виделись у нее и у меня дома. Джеймз Биллингтон пригласил меня войти в состав Совета ученых Библиотеки Конгресса. Там я увидел впервые физика Янга, чьи работы о симметрии (написанные в соавторстве с другим нобелевским лауреатом — Ли), в том числе и связанные с традиционными китайскими представлениями о ней, произвели на меня большое впечатление в молодости, и с тогдашним директором Парижской национальной библиотеки, видным представителем школы «Анналов» Леруа Ладюри, некоторые мысли которого, изложенные в книге «Территория историка», задолго до нашего знакомства натолкнули меня на занятия связью древних эпидемий с другими историческими процессами (в частности, индоевропейскими переселениями, пути которых я тогда пытался открыть вместе с Т. Гамкрелидзе). По предложению Янга Совет ученых, объединяющий специалистов в разных областях, на своих заседаниях обсуждал программу конференций, которая подвела бы итоги заканчивающегося века. В качестве первого опыта было устроено осенью 1991 года совместное обсуждение с японскими учеными проблем этнических различий в современном мире. Мне и моему давнему другу Иосифу Бродскому, в тот год бывавшему в Вашингтоне в качестве американского поэта-лауреата, довелось говорить о ситуации в развалившемся СССР.

О судьбах Российской империи и ее культурного наследия я много думал и позже, когда в марте-апреле 1994 года ежедневно работал в Библиотеке Конгресса, помогая ее сотрудникам готовить выставку, приуроченную к 200-летию русской Православной церкви на Аляске (в конце сентября во время встречи Ельцина с Клинтоном оба президента ее открывали, а мне пришлось ее им показывать). В библиотеке хранится

огромный архив этой церкви, касающийся всей епархии: Аляски, Алеутских островов и Курил. В этом архиве и в архиве Юдина в той же библиотеке я нашел любопытные свидетельства и статистические данные о «мохнатых курильцах» — айнах, живших в конце XVIII и в XIX в. на Курильских островах вместе с эскимосами, алеутами и русскими; японцы, уже начавшие спор с русскими за острова, упоминаются только в этой связи. Я давно интересовался удивительно своеобразным айнским языком, хранящим, как и японский язык, следы взаимодействия с населением более южных островов Тихого океана (когда-то мне посчастливилось купить айнский словарь, составленный русским врачом Добротворским на Сахалине, где после 2-й мировой войны айны исчезают). Из-за этого, попав в 1992 году в Японию, я просил меня повезти на Хоккайдо. После долгих розысков, поколесив по острову, в доме для престарелых я отыскал старуху, исполнившую для меня несколько айнских традиционных песен и просившую навестить ее еще раз: «Я знаю, что ты издалека, но постарайся еще приехать. Здесь кругом одни японцы, а тебе я могу спеть на своем языке». Судя по прочитанным мной в аляскинском архиве записям священников, в середине прошлого века на Курилах айны хорошо понимали по-русски. А теперь хотя бы один русский пытается разобраться в почти вымершем айнском языке (у меня есть вывезенное из Японии собрание айнских магнитофонных записей).

Для меня особенно интересны документы архива Аляскинской церкви, касающиеся переводов библейских текстов на туземные языки. Многие переводы были изданы в Петербурге главным образом благодаря неутомимой деятельности выдающегося организатора всей этой переводческой работы епископа Иоанна (Иннокентия) Вениаминова, который сам в совершенстве изучил алеутский язык и написал прекрасную его грамматику, а также свое изложение христианской веры по-алеутски. В документах архива выражена воля этого человека, повлиявшего на судьбы всего края, который стал меняться в сторону сосуществования разных языков и культур. Начатое по его же замыслу преподавание в церковно-приходских школах успешно велось на алеутских диалектах, аляскинском эскимосском и тлинкитском (американский индейский язык, русскую грамматику и словарь которого тоже написал и напечатал Вениаминов), русском и церковнославянском (он и до сих пор в этих краях сохраняется в богослужении). Алеуты-мужчины почти все становились грамотными. Переводчики на алеутский язык были в своем большинстве священниками из креолов (так тогда на официальном языке по-русски называли

детей, родившихся в первом поколении от смешанных браков русских с алеутками). Из них наибольший интерес у меня вызвал священник Нецветов, человек больших лингвистических способностей (о них говорят не только его переводы на алеугский, но и составленный им алеутский словарь, пока еще неизданный). По материалам архива можно составить себе представление о его мучительно трудной жизни на Крайнем Севере. Особенно увлекательны дневники священников-креолов. В них я читал, например, о поклонении алеутов мумиям их предков (обычай, как и некоторые другие детали туземных обрядов Севера, напоминающий о более известных краях Нового Света, пуэбло и перуанских инках). Мне было интересно восстановить и библиотеку Нецветова по сохранившимся книгам и спискам заказанной им литературы. Занятия реконструкцией частной библиотеки священника-креола, жившего больше ста лет назад, продолжали интересы всей моей жизни. А когда я вспомнил, что моего отца, в начале 20-х годов по вызову Горького приехавшего из Сибири в Петроград, принявшие его там в свою семью писатели — «Серапионовы братья» назвали «Братом-Алеутом», я понял, что мой жизненный круг замкнулся.

СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ

4

Кроме своей семьи у отца были еще побратимы по Серапионову братству (они так себя назвали по Гофману, и им этого не мог простить Жданов, напавший не только на Зощенко, но и на всех его братьев в серапионстве). Начну с Брата-Алеута.

Отец описал в романе «У» свой разговор с врачом сразу после моего рождения. Врач рассуждает о моей большой голове: «Будет психиатром». Мне с течением лет все больше хотелось заняться психиатрией. Частично я это и делал, когда вместе с ленинградскими психиатрами Л. В. Балоновым (чья смерть оборвала эти занятия) и В.Л. Деглиным изучал речь больных сразу после односторонних правых и левых электросудорожных шоков. А роману с этим эпизодом, описывающим мое рождение, пришлось дожидаться публикации на родине больше полувека; за границей его издали раньше, но почему-то с купюрами (впрочем, и русское издание страдает от цензуры нравов, опущены места, где отец в духе тогдашних опытов Джойса и Лоуренса использует непечатные слова в их прямом анатомическом смысле). Мне было уже под шестьдесят, а отца давно не было в живых, когда «У» впервые вышел в России (в издательстве «Книга», где этому помогла Т. В. Громова, потом со мной вместе работавшая в

библиотеке руководителем издательства «Рудомино»).

Сразу после того, как роман был закончен в рукописи, отец показал первые его главы, отпечатанные на машинке, Фадееву, который тогда ведал «Красной Новью». Фадеев не просто отказался печатать роман. Находясь с отцом в отношениях довольно коротких (они не раз вместе выпивали и были на «ты», как, впрочем, большинство писателей этого поколения), Фадеев строжайше наказал ему никому больше не давать читать «У». Отец не сталдаже перепечатывать следующие главы, и тюк с единственным от руки написанным экземпляром рукописи (вместе с теми первыми машинописными главами, которые отверг Фадеев) путешествовал с нами в эвакуации. В свертке вместе с несколькими любимыми книгами отца были и другие драгоценности: еще один роман отца «Кремль», тоже остававшийся в первоначальном неперепечатанном виде, а также рукописи Хлебникова, доставшиеся отцу от Крученых. Мне уже случалось — в статье о Хлебникове в сборнике «Пути в незнаемое» — вспоминать, как мне пришлось караулить этот тюк с отцовскими драгоценностями (в играх молодых Серапионовых братьев использовался фантастический сюжет «Фамильные бриллианты Всеволода Иванова»; бриллиантов у отца так и не было, но этот сверток мог бы их заменить). И из-за него двенадцатилетним мальчиком я испытал чувство острого отчаяния. Мы добирались с мамой, братом, сестрой и няней из Чистополя, где провели первый месяц осени 1941 года, в Куйбышев, куда в день общемосковской паники 16 октября моего отца вывезли вместе с другими писателями и журналистами (отца особенно изумило, что его и еще других беспартийных писателей по дороге на вокзал завезли в здание ЦК, чтобы они помогли истребить секретные бумаги, которые нельзя было оставлять немцам; кругом была копоть, в окна были видны чадящие трубы: жгли историю). В Казани предстояла пересадка с суденышка, на котором мы плыли по Каме, на большой волжский пароход. Пока другие члены семьи хлопотали, пытаясь добыть места на корабле, меня оставили охранять наш багаж, сваленный у берега реки на пристани. Сверток с рукописями лежал на чемоданах, я касался его рукой, проверяя, на месте ди он. Пристань была запружена людьми. Толпа (если память не изменяет, новобранцев, ехавших к месту назначения) хлынула к одному из пароходов, сметая все на своем пути. Я прижался к вещам в надежде, что меня оставят в покое. Каким-то чудом проносившиеся мимо осатанелые люди меня не задели. Но волнение за судьбу рукописей вспоминалось долго.

Позднее к ненапечатанным вещам отца прибавилась книга

фантастических рассказов и составляющие с ней единое целое повести. У отца было буйное воображение. Большинство этих рассказов складывалось у него в голове до того, как он их записывал. Я с другими членами семьи и друзьями слышал их в его устном исполнении, а потом уже он читал нам написанный текст. Так я летом 1944 года узнал его рассказ о Сизифе, по мысли совпадающий с «Сизифом» Камю, написанным точно в это же время. Отец естественно вошел в то направление, которое я называю термином «фантастический реализм», кажется впервые использованный Достоевским. Отец хорошо знал других наших писателей — своих современников, примыкавших к тому же направлению. Он говорил мне, что безуспешно пытался напечатать «Котлован» Платонова в «Красной Нови» (как-то в разговоре с отцом при мне Платонова с ним сравнивал Пастернак, называя его дар «берложным и непомерным»). После смерти Булгакова отец занимался делами комиссии по его литературному наследию и сокрушался, что ничего нельзя напечатать. Он был одиим из немногих, кто уже тогда читал «Мастера и Маргариту».

Удивительные события, приключения и персонажи населяли не только книги отца, но и его восприятие жизни. Какое-то смещение границ реальности могло сказаться и в части рассказов, которые я передаю с его слов. Но все равно, даже если они искажают действительность больше, чем обычное наше мироощущение, в самом этом сдвиге отпечатался характер отца. Уже пожилым человеком он был потрясен тем, что во время одной из прогулок по Карадагу в Коктебеле увидел в море гигантского змея, чья голова на чудовищно длинной шее поднималась в сторону Чертова пальца, стоя у которого, отец смотрел вниз. Мои родители произвели тогда целое расследование с помощью сотрудников Карадагской биологической станции, которые предлагали правдоподобные зоологические объяснения увиденному отцом. Выяснилось, что похожее чудище в этих местах в конце гражданской войны видели красноармейцы. Их рассказ, напечатанный в местных газетах, через Волошина дошел до Булгакова и сказался на сюжете его «Роковых яиц». Фантастические образы и у Булгакова, и у отца возникали в обстановке всеобщего ожидания не столько чудес, сколько чудовищ. Дракон стал одним из действующих лиц отцовского «Кремля» потому, что ему змей мог привидеться много лет спустя, входил в число его потенциальных знакомых.

Характер отца отличался сочетанием порывистости и взрывчатости с замкнутостью, отстраненностью от людей и большой ранимостью. В тридцатые годы и позже отец шел на

компромиссы, много писал газетных статей, был корреспондентом «Известий» на показательных процессах, выбирал, казалось бы, подходящие для властей темы для своих сочинений и писал многие йз них не на полную силу. Едва ли не наибольшей уступкой было его согласие на переиздание лучших старых его вещей в искалеченном и изуродованном виде. Но хотя его положение официально признанного писателя за ним сохранялось, полного успеха эти попытки ему не дали. Я часто корил себя, думая, как затрудняли его жизнь мы все — домашние, на нас надо было заработать, нас нужно было спасти от несчастий, которые были сопряжены с его возможным преследованием. До меня несколько детей от предыдущего брака умерло (была дочь Маша, ее задушили петлей много лет спустя после смерти отца, это было мафиозное нераскрытое убийство). Ко мне он относился с повышенной страстностью и очень остро переживал мои болезни. Он проводил со мной много времени, делился планами задуманных вещей, политическими прогнозами, оценками людей. Я в разных смыслах от него много усвоил: ранние литературные и научные вкусы, понимание происходящего, ожидание катастроф во внешнем мире, отчужденность от многого в тогдашней действительности. В последние годы перед смертью Сталина мы стали терять взаимопонимание, но может быть, больше этому способствовал возраст, чем политика.

Судьба пишущего в стол — для будущего — его тяготила. Ему не дали кончить автобиографические «Похождения факира» — первые три части после опубликования были объявлены формалистическими (определение зимой 1936 года стало ругательством; я до слез расстроился, когда мои рисунки обозвал тогда этим страшным словом Лазарь Шмидт, друг отца, позднее арестованный). А в «Похождениях факира» в живой форме отец рассказывал о своей молодости, бродяжничестве, скитаниях, мистических и парапсихологических увлечениях. Он прошел через занятия йогой, а потом вполне серьезное чтение буддийских книг, опыты передачи мыслей на расстояние. За этим иррациональным вступлением к творчеству последовал опыт гражданской войны, садистический налет которого лежит на лучших его ранних рассказах. Сперва он был в Красной гвардии, потом в типографии колчаковской газеты «Вперед». У писателя-чудака Антона Сорокина в гостях разговаривал однажды с самим Колчаком о литературе (Колчак пришел в литературный салон со своей подругой-актрисой). Упомянули Горького. «Да, талантливый человек, — заметил Колчак. — И Блок — талантливый человек. Все равно, когда возьмем Петроград, обоих

повесим». Судьба писателя (да и судьба самой России) — что выбор пути в русской сказке: прямо поедешь убьют, налево — и тебя, и коня убьют, направо — ... (теперь начнешь думать о Жириновском). В одной из газет того времени отец напечатал фантастический рассказ. В нем описывается отдаленное будущее. При раскопках в земле находят спрятанный красный флаг — последнее, что осталось от погибшей революции. Сейчас рассказ не кажется таким ирреальным, как полвека назад, когда отец мне его пересказывал. Отец, писавший тогда и стихи, и прозу и сам набравший в типографии (эта была основная профессия из многих им перепробованных до писательской) не только книгу своих рассказов, но и газету-альманах «Согры», входил в сложившуюся в Сибири к концу десятых годов группу молодых писателей. Одни из них погибли еще во время гражданской войны, как близкий его друг поэт Маслов, другие позднее были хотя бы на время арестованы, как Леонид Мартынов. Участие в колчаковской газете отцу припоминали в годы террора. До того помогало отношение к нему Горького. Об этом и о его знакомстве со Сталиным я рассказывал в недавней публикации в «Звезде».

В двадцатые годы отец был избалован читательским успехом, многочисленностью изданий, известностью. Он пил с Есениным, буянил, пировал с известным пушкинистом обжорой Щеголевым. У него был целый цикл рассказов и анекдотов о нем: Щеголев приходит к нему в гости, все же другие приглашенные отсутствуют, кто заболел, кто уехал, а наготовлена тысяча пельменей — коронное блюдо отцовского дома, в лепке которого и я потом научился участвовать. «Ничего, — говорит Щеголев. — Съедим одну сотню вареных, потом сто жареных' и так дальше. А прослаивать пельмени будем коньяком. Он трезвит и сушит». В другой сценке отец входит к Щеголеву, когда тот сидя смотрит в бинокль вниз поверх своего огромного брюха: «Пора ногти стричь». Фантастическим кажется рассказ Щеголева о том, как он посиживает на скамейке на Тверском бульваре, а мимо него проходит Савинков, о смерти которого перед тем писали советские газеты. Савинков, увидев, что Щеголев его узнал, делает ему знак: молчок. Еще одна история была о том, как Щеголев добывал бумагу для печатания издававшегося им журнала. Щеголев приходит к высокопоставленному советскому чиновнику с просьбой о бумаге. Тот отказывает. Щеголев в ответ начинает рассказывать о своих успехах в опознании провокаторов, клички которых есть в изучаемых им документах Третьего отделения. Он называет кличку, после которой его собеседник безмолвно подписывается на просьбе о бумаге. Эта история совсем не фантастична. Как со времен Брежнева и позже

высшие власти все были в большей или меньшей мере замешаны в коррупции, так старшее поколение в значительной степени состояло из провокаторов. От литературоведов, пришедших на смену Щеголеву, я знаю, что после него почти никого в полицейские архивы не допускали.

Отец был знаком со многими из верхушки советского режима: такие люди тогда заигрывали с писателями. Отец был на приеме, устроенном Троцким после удачной охоты (книгу Троцкого с дружелюбной надписью уничтожил после споров с мамой по ее настоянию). Нередко виделся с Фрунзе. Присутствовал при разговоре Радека с Пильняком, когда Радек рассказал, что Фрунзе зарезали, а Пильняк тут же решил писать об этом. Отец, тогда с Пильняком друживший, отговаривал его ввязываться в политическую борьбу, но Пильняк был уверен в себе.

Проведя первую треть жизни в Азиатской части России, отец не знал, что такое антисемитизм. По его словам, в русских деревнях неприязни к евреям не было. Для него антисемитизм оставался странным городским извращением, о котором он узнал только в Петрограде и Москве. В разговоре со мной с удивлением вспоминал реплику Куйбышева в одну из встреч с «вождями» еще во времена нэпа. Стоя с отцом в коридоре и глядя с ним на сидящих за столом, Куйбышев говорит ему: «Всеволод, мы же русские люди. А кто нами правит? Одни евреи». Я полагаю, что вся группа, первоначально поддерживавшая Сталина, а потом с ним поссорившаяся и частично им уничтоженная, была настроена шовинистически (их идеологию Сталин потом и усвоил после термидора, как до *1* ого воспринял многие лозунги Троцкого: собственных мыслей в этой голове не бывало). Когда в газетах началась антисемитская кампания против «космополитов», отец, гуляя со мной под Москвой, говорил мне о ней с отвращением. Он вспоминал о судьбе Испании, потерявшей положение первостепенной державы после изгнания евреев, и предрекал такую же участь нашей стране, если антисемиты возобладают.

В разговорах военных лет отец был со мной откровенен. Он считал, что всему их поколению не дали сделать то, что они могли. В его архиве я нашел много начатых набросков, не доведенных до конца. Он сам пишет в одном из них, что судьба других написанных вещей не располагает к тому, чтобы дописывать начатое. Последние годы он нет-нет да уезжал от опротивевшей ему московской суеты в горы — в Коктебель или Ала-Тау, сам геологическим молотком выбивал глыбы камней, которыми была завалена дача в Переделкине. Одно из путешествий по Забайкалью летом 1958 года мы проделали вместе. Он был прирожденным скитальцем. В нем была жажда

странствий, бытовая неизбалованность, простота в обращении с людьми. Как-то мы поздно вечером приехали в старообрядческое село. Председатель колхоза пил по случаю праздника, другим до нас не было дела. Нам предложили расположиться на ночь на столах в сельсовете. Отец тут же устроился на ночлег (нам не дали ни одеял, ни простынь, ни подушек), а ему было уже за шестьдесят.

Как Паустовский, в те годы часто у нас бывавший, отец старался помочь росткам новой литературной общественности, председательствовал на знаменитом обсуждении Дудинцева, где выступал Паустовский, писал для «Тарусских страниц» предисловие к публикации Цветаевой (ее он очень высоко ценил еще по тем временам, когда после ее самоубийства ее стихи собирал Крученых). Белла Ахмадулина нередко вспоминала о поддержке, которую он оказал ей, как и многим другим студентам Литературного института. Он подписал письмо в защиту новой литературы и искусства, когда на них стал нападать потерявший голову от одури власти, как Санчо Панса в губернаторах, Хрущев.

Отец тяжело умирал от метастазов раковой опухоли. Я и мама по очереди были с ним в больнице. К нему возвращались мистические образы юности. Я пытался передать их в стихах его памяти, написанных 30 лет назад:

Не спится мне, а засыпаю — снится
Такой же сон, которым бредил ты,
Когда плыла рублевская больница
Непроходимым морем темноты,

И годы странствий проплывали мимо,
И на тебя глядели из зеркал
Глаза несчастного Артура Пима,
Как ты себя когда-то называл,

И звери выходили на поляны,
Где ты прислушивался к росту трав,
А в Индии кричали обезьяны.
За сотни верст паломника узнав.

Ты разговариваешь с Бодхисатвой,
И взгляд твой видит в сумраке его.
Твои поля с неконченною жатвой
Благословляет это божество.

Приходит он к тебе высотным зданьем
И говорит о славе и судьбе.
Быть может, жизнь была его заданьем.
Как в детстве раннем сказано тебе.

Но август застилает черной тучей
К тебе спускающийся небосвод.
Больница, словно спящий дом плавучий,
Как пароход, тебя от нас несет.

Всю ночь мне чудилось: я умираю,
А это значит — умираешь ты.
К какому неизведанному краю
Тебя уносит море темноты?

Последнее из путешествий явью
Оказывается, хоть это — сон,
Навет, обман, и как мне силу навью
Заклясть словами, чтоб ты был спасен?

Но солнце-то еще не закатилось,
И, как на вахте, не сдается дух.
Все время возвращают «Наутилус», —
Как капитан, ты произносишь вслух.

Река с ее водою неживою,
Палаты погребальная ладья.
«Переплывет один». Сейчас нас двое,
И в сумраке больничном ты да я.

Но здесь опять стираются границы,
Нет смерти, нет гробницы и плиты.
Не спится мне, а засыпаю — снится
Такой же сон, которым бредил ты.

5

Из «Серапионовых братьев» отца больше всех ценил Зощенко. Их литературные взаимоотношения были несимметричными. В их молодости Зощенко, как видно из дневниковых записей К. Чуковского, безоговорочно признавал отца самым способным прозаиком. А отцу казалось, что у Зощенко слишком бедный язык. «Понимает ли это он сам?» — спрашивал отец с недоумением. Позже я понял, что отец ошибался, считая богатство словаря критерием, по которому всегда можно оценивать писателя.

Зощенко в его вещах, написанных как бы от лица его героев, нужно было ровно столько слов, сколько они могли знать.

Как и другие серапионы, начинавшие писать сказом, Зощенко языком живо интересовался. Вдова Стенича мне рассказывала, что его очень занимал словарь затеянного Стеничем перевода «Улисса» Джойса. Он говорил Стеничу, что будет подбирать для него словечки. Арест Стенича оборвал его работу.

Я познакомился с Зощенко, когда мы перед самой войной (летом 1940 года) были в Коктебеле. Мы пришли с отцом вдвоем на территорию, принадлежавшую Ленинградскому отделению Литфонда (а мы жили на Московской земле, уделы воссоединились только после войны). Осталось в памяти, что Зощенко (чье очень смуглое лицо с родинкой и чрезвычайно печальный взор, не просветляющийся и при улыбке, тогда запомнил) жил в светлом помещении, стоявшем на возвышенности. У Зощенко тогда сложилось впечатление, что у меня сильный характер и я держу родителей в ежовых рукавицах (так, посмеиваясь, рассказывал он несколько лет спустя). От этого времени у меня остался его подарок — «Рассказы о Ленине», с его надписью. Мы все любили его истории о советских коммуналках и инвалидах Гаврилычах, в них живущих: от его черного юмора было рукой подать до абсурда хармсовской прозы. А его нравоучения уже тогда не были мне по вкусу.

Снова мы встретились, когда весной 1943 года Зощенко из алма-атинской эвакуации вернулся в Москву. Придя к нам, он рассказывал о том, как он часто встречался с сыном Сталина Василием (потом строили догадки, не было ли это одной из причин того, что на Зощенко обрушился гнев диктатора). Зощенко любил рассказывать новеллы (его слово) из собственной жизни. Отец восхищался одной из них, где даму из того алма-атинского богемного круга, где «Васька» встречался с Зощенко и выпивал с ним, приревновал ее любовник, в приступе гнева сплющивший золотой браслет, который ей подарил другой мужчина.

Из таких новелл, как кажется, родилась книга «Перед восходом солнца». Я присутствовал в конце той же весны на первых ее чтениях. Слушателями были жившие тогда в Москве или оказавшиеся в ней в то время на пути в Ленинград из эвакуации Серапионовы братья и их жены: мои родители, Федины, Слонимские. Первое чтение, как я убедился из сохранившейся в дневнике записи, состоялось 9 мая в номере гостиницы «Москва», где остановился Зощенко. Я приведу эту короткую запись, принадлежавшую не мне сегодняшнему, а восьмикласснику, которому еще не исполнилось 14 лет: «Зощенко

читал нам отрывки из своего романа о поисках несчастного происшествия, испортившего ему жизнь. Маленькие новеллы, составляющие содержание первых двух отделов, вступление, первая глава — все это сделано с замечательным мастерством. Он верит в свое открытие фанатически, говорит даже, что занимался врачеванием. Он, по-видимому, весь ушел в эту книгу. Когда он объясняет ее содержание, сюжетное развитие перед чтением отрывков, он буквально повторяет выражения и фразы, которые потом читает». И всему чтению, и отдельным отрывкам Зощенко предпосылал подробное объяснение причин, по которым он написал книгу. Он считал очень важным, что ему на собственном примере удалось открыть, откуда происходит нестерпимая тоска, всю жизнь его преследовавшая. Ему хотелось помочь другим людям, страдающим тем же недугом.

В своих вступительных пояснениях Зощенко говорил не только о ходе поисков первоначального потрясения, которым посвящена книга, но и об эпиграфах к каждому из разделов. Двустишие Бальмонта о крыльях бабочки, с которых стерлась пыль, он предварил словами: «Я перечитал очень пошлого поэта — Бальмонта, и нашел у него только две настоящие строчки». Не все присутствовавшие согласились с таким почти полным отрицанием Бальмонта, Федин стал возражать.

Следующее чтение состоялось через два дня, 11 мая на квартире у Федина в доме писателей в Лаврушинском переулке, где жила и наша семья. Здесь читались рассудительные части книги — те, что не были изданы тогда же (печатание книги в «Октябре» было прервано, и Зощенко подвергли первым поношениям в газетах и в Союзе писателей), а спустя много лет получили условный заголовок «Книга о разуме». Я и потом считал, что если некоторые из новелл начала книги принадлежат к шедеврам русской прозы, то и следующая часть, касающаяся бессознательной памяти, еще найдет себе внимательного читателя (теперь это уже начало сбываться). Соответствующую главку своей книги по истории науки о знаках я назвал заглавием сочинения Зощенко.

Несколько устных новелл от Зощенко мы услышали на вечере у нас дома по случаю дня рождения моего отца 24 февраля 1944 года. Пока гости собирались, Зощенко рассказывал сюжеты новых своих рассказов. В одном из них двое спасшихся из затонувшего военного судна людей разговаривают, держась в воде за предмет, который неожиданно для них обоих оказывается миной. Зощенко сам посмеивался, рассказывая. Война способствовала его движению к откровенно жутким сюжетам. На этом вечере много пили и произносили тосты. Пастернак поднял тост за

недоразумение в его историческом значении. Это послужило поводом для целого цикла тостов и рассказов. Вслед за Пастернаком заговорил Зощенко (кажется, именно в тот вечер Борис Леонидович знакомил с ним Зинаиду Николаевну, свою жену: «Зина, а это Зощенко, тот самый, который смешной»), Зощенко рассказал две новеллы о недоразумении. В первой шла речь о том, как его не поняла любимая женщина. Я привожу этот рассказ так, как записал его вскоре, той же весной, хотя знаю, что позднее Зощенко варьировал повествование на ту же тему (некоторые варианты напечатаны в мемуарах людей, его знавших).

Зощенко любил женщину. Он уезжал на Кавказ, а на обратном пути в Ялте, где пароход остановился на два часа, он должен был получить известие о любимой — письмо на свое имя на почтамте. Но он сомневался, сможет ли он получить письмо. А вдруг ему скажут, что письма на его имя вообще нет. И тогда он решил сам послать письмо на свое имя, вложив в него газетную вырезку. Если ему скажут, что письма нет, он сможет ответить: «Нет, я знаю, письмо есть». «И, сделав такой глупый поступок, я приехал в Ялту». Ему дали письмо от него самого, а письма от любимой не было.

Прошло 10 лет. Перед войной к нему пришла знакомая. Он не подал ей пальто, когда она уходила. Она вспылила и сказала: «Да, вы ко всему равнодушны, кроме своей известности, только известность интересует вас». Он рассердился и ответил: «Вы с ума сошли. Меня это никогда не интересовало». А она ему возразила: «Нет, мы это знаем хорошо, вы десять лет назад прислали самому себе письмо в Ялту, чтобы о вас говорили, чтобы увеличить вашу известность» (в позднейшем варианте рассказа уже после смерти Сталина Зощенко пояснял, что дама имела отношение к органам госбезопасности; в предшествующее время сказать это на людях было нельзя). Зощенко закончил свою первую застольную новеллу так: «Оказывается, меня тогда прорабатывали за это письмо. И никто не подумал о моих хороших намерениях».

Во второй новелле Зощенко рассказывал о том, как он попал на прием в немецкое посольство. На приеме один из немцев, лощеный дипломат, начал вспоминать о Первой мировой войне. Обращаясь к присутствующим русским, этот немец сказал: «Мы вас немного травили газом». Зощенко, пострадавший во время той войны, когда он попал в газовую атаку, с болью вспоминал слова дипломата.

Зощенко был человеком на редкость мужественным. Тому порукой были и георгиевские кресты, «дважды тронувшие» (цитирую Гумилева) его грудь в Первую мировую войну

(вспоминая об этом, отец мой всегда добавлял, что даром их не давали), и письмо Сталину в ответ на постановление ЦК о нем и Ахматовой. Тогда, после конца Второй мировой войны вся мощь победоносного государства обрушилась на этого человека небольшого роста и хрупкого телосложения. Глядя на его маленькие руки, подчеркнуто аристократические движения, изящество манер, иной раз вызывавшее в памяти Чаплина в серьезных фильмах, слушая его негромкий ровный голос, трудно было себе представить, что именно он мог написать всемогущему диктатору, перед которым все дрожали: «Иосиф Виссарионович, Вы ошиблись» (я запомнил это начало письма со слов самого Зощенко, позднее М. Чудакова мне говорила, что в домашнем архиве сохранился его черновик). Я уверен, что такое обращение для Сталина было непривычным. В тот вечер своими новеллами Зощенко давал нам понять, что как бы готов и к надвигавшимся более серьезным недоразумениям и «проработкам».

В середине моего 2-го курса в студенческие каникулы в январе 1948 года мы с мамой были в Ленинграде (я в первый раз и был им зачарован). Тогда Зощенко пришел с нами повидаться в дом другого серапиона — критика и биографа Горького И. А. Груздева, у которого мы остановились. В этом же доме я его видел и в другие свои приезды в Ленинград. В тот раз в гостях вместе с нами была и близкая мамина приятельница художница В. М. Ходасевич, племянница поэта. Зощенко рассказывал о большом впечатлении, которое на него произвела музыка Хачатуряна. Обращаясь к Валентине Михайловне, он искал у нее поддержки: «А вы знаете «Танец с саблями»? Правда, хорошо?»

И в первые встречи в те годы, и позднее, когда Зощенко бывал у нас в Москве, он рассказывал с усмешкой и с горечью о поведении нескольких писателей. Один из старых друзей, встретив его на улице, «прошел мимо, как астральное тело». Мариэтта Шагинян, приехав в Ленинград, пригласила его в ресторан, но потом (видимо, под давлением советчиков, объяснивших ей всю опасность ее предприятия) взяла приглашение обратно, прислав с запиской сумму денег, на предполагавшееся угощение отведенную (как будто четыреста рублей). Сходный сюжет, но гораздо более сложное построение и значительно большие суммы денег содержал аналогичный рассказ о

Катаеве. Он с Зощенко дружил, вернее сказать, встречался вместе с участием вина и женщин. Среди новелл об этой прежней дружбе с Катаевым Зощенко рассказал и такую, где описывалось утро с Олешей и Катаевым в доме последнего. Катаевская теща ушла с другими домашними в синагогу. Катаев привел с улицы

какую-то девку и уединился с ней в тещиной комнате. По этому поводу Зощенко коротко прокомментировал: «Валька же подлец, вы знаете». Теща вернулась раньше времени и с шумом стала выгонять девицу из своей комнаты и из дому. Катаев бросил ее в беде и присоединился к гостям.

Своего друга Зощенко Катаев предавал не раз. Когда разразилась гроза во время первой публикации «Перед восходом солнца», Катаев заявил, что не может быть в одной редакционной коллегии («Крокодила») вместе с Зощенко. Буря миновала, Зощенко даже выбрали в правление Ленинградского Союза писателей, Катаев просил прощения, водил для примирения в ресторан, истратив кучу денег. После постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» Катаев выступил с одной из самых резких речей, против Зощенко. Через некоторое время он пришел к Зощенко с повинной, привезя с собой для ресторанного кутежа сумму, во много раз превосходящую ту, с помощью которой он пытался запить предыдущее предательство. Но и на этом циклический сюжет новеллы не кончался: была еще одна вспышка гонений, в которых Катаев опять участвовал, и вдвое большая сумма денег, только названная (сколько помню, пятизначная, тысяч двадцать пять, должно быть), но неистраченная: на этот раз Зощенко отказался с ним идти.

Если бы меня спросили, какова была государственная идеология того писательского круга, с которым’ я был хорошо знаком с детства, коммунистическая или антикоммунистическая (говоря на популярном теперь языке), я бы не задумываясь ответил: ни та, ни другая. Господствовал цинизма Для многих литература была выгодным промыслом, писатели (да и актеры, и люди других искусств) сознательно шли на сделку, ни во что не веря и даже не очень это скрывая (как, например, Алексей Толстой, часто встречавшийся с моими родителями перед войной и во время нее). Зощенко с его старомодным морализмом был заметным исключением.

В конце сороковых годов я вел кружок на одном московском заводе. По плану нам было нужно говорить о современной прозе. Выяснилось, что рабочие ничего не читали из официальных писателей — лауреатов Сталинских премий. А вот книжку рассказов Зощенко (конечно, старое издание: его давно запрещено было печатать), попавшую к одному из них, прочитали всем цехом, передавая от одного к другому. Мои родители, ездившие вместе с Зощенко по России в тридцатые годы, подтверждали его необычайно широкую известность. Но замечательно, что ей не смогли помешать и последующие гонения. Если был тогда народный писатель кроме Есенина

(которого читали и знали все, как потом Высоцкого), то им был Зощенко.

Мы с родителями и первой моей женой Таней были в Ленинграде в канун года, когда умер Сталин. Зощенко пришел в гостиницу, где мы остановились, провел с нами целый вечер. Он был не в очень хорошей физической форме, может быть, уже начиналась последняя его болезнь. Начав очередную устную новеллу, где должна была фигурировать жена одного из близких ему писателей (в начале он рассказывал о гостинице «Москва», куда к нему приходили дамы), он так ее и не кончил.

У нас в доме в то время бывал Сергей Антонов, к рассказу которого «Дождь» делал иллюстрации муж моей сестры художник Давид Дубинский. Антонов работал в редакции «Нового мира». Он нам рассказал, что Твардовский просил его съездить с Ленинград и попросить у Зощенко рассказы для журнала. «Твардовский хочет пострадать за правду», — пояснял Антонов, ссылаясь на разговор с ним.

В последующие годы Зощенко, которого понемногу начали печатать, несколько раз приезжал в Москву и приходил к нам. Мы говорили о переводах, которыми он стал зарабатывать. Перевод «За спичками» Лассила нас всех восхищал. Забавляясь, Зощенко рассказывал об одном авторе, который просил его «скорее прислать подстрочник»: никакого оригинала не было, Зощенко нужно было написать всю вещь сначала по-русски. Он читал свою новую пьесу, просил позвать на чтение Шкловского, чьим мнением всегда дорожил (тот тоже принял участие в одной из первых проработок Зощенко, еще по поводу книги «Перед восходом солнца», которую перед тем хвалил в письме к автору; Зощенко, отвечая критикам, говорил об этой непоследовательности Шкловского, но, видно, не затаил в душе хамства, если цитировал его сочинения). В другой раз он слушал пьесу моего отца о Ломоносове и остался не очень доволен: он ждал, что отец передаст близкую ему стихию грубой мощи Ломоносова, например, в его спорах с академиками-немцами.

Как-то раз в Москве Зощенко остановился у своего старого знакомого В. А. Лившица. У того были книги стихов современных поэтов. Зощенко стал читать их. Он потом нам рассказывал: «Я знал поэзию Блока, потом Гумилева, Ахматовой. Мне хотелось понять, кто из современных поэтов найдет новые слова, передаст новый язык». Он нашел эти черты у Евтушенко, читал нам наизусть его строки «И вот иду я с вывертом» (из «О свадьбы в дни военные»).

Зощенко очень тяжело перенес возобновление преследований уже в позднее, послесталинское время. После его искреннего и

достойного ответа английским студентам, которым он сказал, что не согласится с тем, чтобы его объявили подонком, как сделал Жданов, для расправы в Ленинград был послан Симонов — призрак литературного сталинизма, в реальности которого многие ленинградские писатели не усомнились. Они пришли на собрание, где его снова поносили, как будто в стране ничего не изменилось.

Во время последних наших встреч Зощенко, сев с нами вместе ужинать, не мог прикоснуться к пище. Он сам говорил об этом, высказывая надежду, что ему удастся преодолеть это отвращение к еде: «Пожалуй, я сейчас съем этот кусок сыра», клал его перед собой на тарелку — и ничего не мог дальше сделать. Он умер от той же болезни, которая свела в могилу другого большого русского писателя, также и смесью нравоучительства с черным юмором ему близкого. Разумеется, причины или, скорее, поводы для заболевания у Гоголя были другими. Я думаю, что с той поры, как (кажется, по распоряжению Сталина) у Зощенко отняли карточку на хлеб, перед ним маячила угроза голодной смерти. В последнюю нашу встречу он несколько раз повторил, что у него теперь будет пенсия, обсуждал, совместимы ли с ней гонорары. Мне кажется, что до получения пенсии его очень заботила невозможность обеспечить близких регулярными заработками. Он хотел убедить нас и себя в том, что его литературное положение изменилось, говорил о только что вышедшем переводе книги Шон О'Кейси: эту книгу нелегко достать, но ему ее прислали. Зашла речь о том, что за границей вышел «Доктор Живаго». Он высказал недоумение: «У нас это не было раньше принято». Его офицерский кодекс чести привязывал его к стране, его правила поведения могли казаться наивными. Преследование его и в самом деле было недоразумением. Но оно привело к болезни и гибели. Его конец мне кажется сходным с тою же болезнью у жены Бахтина Елены Александровны. Ей все казалось, что не хватит пищи ее мужу — рослому полному мужчине. Она перестала притрагиваться к еде тогда, когда угроза нищеты была позади (когда-то она была реальной: близкая к Бахтину пианистка Мария Вениаминовна Юдина говорила мне, что до его ареста собиравшиеся в Ленинграде на его домашние лекции друзья, уходя, клали мелочь на блюдце, на эти деньги Бахтины жили до издания первых его книг под чужими именами). Короткое время она ела еду, которую приносили в больнице: казенных харчей могло хватить на обоих, но в Саранске убедить ее, что книги издаются и у них есть деньги в сберкассе, друзьям не удавалось.

В России не только в тюрьме и лагере умирали от голода.

Когда прямая опасность миновала, самые стойкие люди умирали от того, что им пришлось испытать раньше, как генералы после конца войны, как историки реформ (например, Н. Эйдельман) при начале их осуществления.

Перед смертью Зощенко приезжал в Москву. Родители были за границей, но мы условились, что он приедет ко мне в Переделкино. В последний момент он позвонил, что не может приехать. Москва его вконец измотала, он чувствует себя разбитым. Потом я узнал, что его очень травмировал страх некоторых из старых друзей, испугавшихся сидеть с ним рядом на одном из литературных собраний.

Узнав о смерти Зощенко, Пастернак пришел к нам на дачу со словами: «Его преследовал его собственный герой». Пастернак видел в этом торжество его искусства.

Когда ехали по шоссе хоронить Ахматову, Бродский показал мне место, где погребен Зощенко. В стихах об этом, написанных вскоре после ее смерти, я воспользовался якобсоновской метафорой поколения, растратившего своих поэтов:

Вокзал был в начале девятого
В морозном слепящем узоре.
Потом отпевали Ахматову
В огромном Никольском соборе.

На улице очередь. Хочется
Нам всем подойти и проститься,
Но чуть не военные почести
Воздать ей готовы убийцы.

Мы ехали рощицей тощенькой,
И мне показали пригорок:
Могилу несчастного Зощенко,
Великого без оговорок.

Несоединимых писателей
Связали мы крестной дорогой
И лучших поэтов растратили.
Чего же мы просим у Бога?

Не знаю, какие чудачества
И чудо какое отмоет
Их кровь от России палаческой,
Оставшейся темной тюрьмою.

6

Другим серапионом, много лет сохранявшим самые дружеские отношения с моим отцом, был Федин. Отец рассказывал о начале их дружбы, когда он ходил по Петрограду в медвежьей шкуре, под которой не было другой одежды; Федин подарил ему вторую пару брюк, составлявших его имущество. Федин получил свой первый гонорар в Москве, они пошли отмечать успех в ресторан «Яр», там были цыгане, все как полагалось в старину (это самое начало нэпа). Потом возвращались на извозчике. Наутро оказалось, что пропили весь гонорар, Федину нечего было привезти в Петроград семье, которой он обзавелся к тому времени.

Я помню его с тех предвоенных леї, когда он переехал из Ленинграда в Москву и поселился в Переделкине через одну дачу от нашей (между нашими дачами жил Пастернак, друживший и с моими родителями, и с Фединым), а в новом писательском доме на Лаврушинском (куда мы переехали с Нащокинского) — в том же подъезде, что мы, но двумя этажами ниже. Гуляя лесной частью наших соседних участков, я забредал и к Федину. Для наукообразия или чтобы лучше разглядеть муравьев и внугренность муравейников (я тогда, начитавшись Фабра, увлекался энтомологией, а интерес к социологии беспозвоночных остался у меня на всю жизнь: хочется понять, чем мы похожи, а главное — чем непохожи на общественных насекомых), я вооружался лупой и как-то забыл ее на фединской скамейке. При встрече он спросил меня своим бархатным раскатистым голосом, играя каждой деталью произношения, как на сцене: «Кто-то здесь потерял мелкоскоп (это лесковское слово его интонация выделила курсивом), не ты ли?» Другой раз он завел меня к себе надачуи предложил поделиться своей архивной коллекцией немецких карточек, билетов и всякой другой бумажной дребедени, которую он хранил со времени Первой мировой войны, когда он был интернирован в Германии (откуда его «Города и годы», которые я любил в юности).

Когда Федин по-соседски заходил поговорить с родителями, я иногда присутствовал. В наших домашних разговорах всегда подчеркивалось, что Федину советская власть чужда. Поэтому для меня было неожиданностью, как он реагировал на упоминание отцом достоинств его повести «Трансвааль» (она отцу нравилась больше других вещей Федина, ему казавшихся написанными в излишне классически-акаде- мическом духе; он добавлял обычно, что фединская психология собственника помогла ему описать героя с такими же устремлениями). Федин сказал, что ему

удалось охарактеризовать тот «гнойник», который был потом выявлен особым постановлением ЦК. Другой разговор, касавшийся наших властей, относится к концу лета 1940 года. Мы вернулись из Коктебеля. Федин в подробностях рассказывал нам о созванном в ЦК совещании, где были приближенные к верхам известные писатели и Сталин, в этот раз набросившийся на прозаика Авдеенко; мы уже знали об этом по статье в «Правде». Первая рукопись, принесшая славу Авдеенко, была отредактирована Горьким и моим отцом (я не исключаю того, что на Авдеенко Сталин вымещал и свою ненависть к Горькому), что упоминалось при этом разносе. Федин, красуясь, жестами показывал, где кто сидел, как ходил Сталин, пересказывал, что он говорил. Рассказ был, вероятно, точным и каким-то бесстрастным. Федин был то, что называют хорошим рассказчиком (как-то Пастернак в конце одного фединского застольного рассказа у нас дома заключил: «Хорошо рассказал!»; Пастернак неплохо знал и тексты Федина: когда, вернувшись из Норвегии, я восхищенно рассказывал о деревянных рыбачьих домиках в Бергене, Пастернак отозвался: *«А,* это то, что у Федина в «Похищении Европы»?»). Иногда рассказ частично воспроизводил уже раньше им описанное, если у истории была автобиографическая подкладка: как-то он рассказал уже описанный в «Братьях» случай, когда пожар по пути ему примерещился, а на обратной дороге был настоящим.

В тот отцовский день рождения, когда Пастернак начал тостом о недоразумении, а Зощенко продолжил своими новеллами, Федин столкнулся со мной в коридоре. Он заговорил по поводу моего тоста, хваля меня (в нашем доме детей с малолетства приучали говорить тосты, постепенно эта мамина привычка сделалась для меня устрашающей, но именно в тот вечер я с удовольствием пробормотал что-то маловразумительное об эскалаторе поколений, на разных ступенях которого стоим мы и старшие). Федин ссылался на понимание истории как комедии у Шера, говорил об относительности всего, включая положение в обществе. Мудрость жизни именно в этом. «Все было бы иначе, это случайность, нужно быть со всеми!»

Я был среди первых слушателей книги воспоминаний Федина «Горький среди нас». В его исполнении слушать ее было занимательно, он в лицах изображал описываемых писателей. Мне тогда его литературные вкусы казались архаичными, ему нравились старшие символисты, Сологуб и Ремизов, но именно это навело на книгу огонь официальной критики. Как и книга Зощенко, воспоминания были знаком относительно большей свободы, которую писатели почувствовали или захотели получить

в первые годы войны. И так же, как и по отношению к книге Зощенко, гонения на Федина были сигналом конца этих временных послаблений цензуры и критики. Федин забавно живописал сцену разругивания его книги в Союзе писателей. Мариэтта Шагинян пришла, чтобы поучаствовать в поношениях. Раздался шум, напоминавший сцену воздушной тревоги. Оказалось, это свистел неисправный слуховой аппарат Шагинян.

В послевоенные годы в Переделкине я присутствовал и на чтении первых глав «Первых радостей» Федина, но уже безо всякого интереса. Я застал Федина за собиранием сведений для этой работы. Я был у Чуковского, когда Федин наведался к нему спросить, кто первым употребил выражение «Башня из слоновой кости».

Мама как-то при Федине полушутя пожаловалась на невозможные с практической точки зрения сюжеты, которые придумывает и мне рассказывает отец. «Представьте, — говорит она, — я прихожу, а Всеволод Коме (моя домашняя кличка) рассказывает о комедии, где главным героем должен быть попугай!» Федин своим резонерским тоном поучает, что у отца и раньше была игривая фантазия, а теперь его еще поощряет резвый молодой ум. Хотя он говорил с иронией, мне почудилось, что он скорее нас оправдывал, если не был на нашей стороне.

Когда я стал уже показывать отцу свои стихи, он как-то предложил (в первый послевоенный год, когда я болел), чтобы я читал Федину. Ему понравились некоторые строки, где он увидел «полновесные русские слова» (он повторил мою строку: «Рахманиновские колокола»). Ему пришлось по вкусу и стихотворение о бабьем лете. По его поводу он стал говорить и о традиции Тютчева. «Как теперь видно, и Пастернак был гораздо меньше ушиблен фугуристическим буйством плоти», чем развитием этой традиции. О Пастернаке как о великом поэте, сравнимом с Верленом, он говорил не раз. Вспоминал о своей работе в Издательстве писателей в Ленинграде. По его словам, он печатал там всех, включая и то, что было ему совсем далеко, как Хлебников.

Мои университетские друзья, особенно В. Н. Топоров, ценили Федина больше других современных прозаиков. Раз нам пришлось доказать свою преданность ценимому автору. Друзья были у меня на даче, когда начался пожар на даче Федина (здесь повторения моей травмы не было: осторожный Федин свои немногочисленные книжные богатства прятал на московской квартире в шкафах под замком). Мы подбегали к пожарищу. Услышали, как он ругательски ругает фадеевского дворника. Тот под шумок решил украсть ценные вещи (снова возникла тема

«Трансвааля», крестьянина-собственника и литератора-собственника). Увидев меня, Федин отдал мне на хранение золотые часы и еще что-то в этом роде.

В университетские годы я перечитал или прочел заново многое из написанного Фединым. Какими-то из положительных впечатлений я с ним делился. Раз, когда он был в гостях у родителей, я заговорил о «Санатории Арктур» и «Волшебной горе». Федин отрицал связь между двумя книгами, утверждал, что его написана вполне независимо. Федин жаловался, что назавтра ему идти в Союз писателей, заседать там. Я спросил, зачем ему это нужно. Мы с ним вдвоем пили коньяк за небольшим столиком в родительской спальне, сидя возле открытой двери в столовую. Там за большим столом сидело много гостей, среди них мхатовский актер Ливанов, друг моего отца и Пастернака. Указывая на Ливанова, Федин сказал мне: «Вот сейчас мы пьем, а завтра Ливанов пойдет играть свою роль в советской пьесе. И я пойду играть мою роль в советской пьесе».

С Пастернаком Федин был очень дружен, мы нередко виделись у Пастернака в гостях. Федин вернулся из поездки в ГДР, за которой я следил по восточно-немецким газетам. Пастернак сказал ему, что от меня слышал о его турне. В ответ Федин стал ругать и представлять в лицах грузинского писателя Гамсахурдиа, ездившего с ним вместе и удивившего его своей грубостью и невежеством. Пастернак рассмеялся: «Так и хочется сказать: Экая гамсахурдия!» Вскоре, рассказывая мне о предполагавшейся последней главе «Охранной грамоты», где он хотел написать о грузинских впечатлениях, Тициане Табидзе и Паоло Яшвили, Пастернак объяснял, почему он ее так и не написал, и вдруг добавил: «А теперь, вы же слышали, что Костя Федин говорил». Выходило, что мнение Федина о нынешнем грузинском литераторе мешало Пастернаку написать и о старых тифлисских друзьях.

Мне попалась в библиотеке новая итальянская история русской литературы, я взял ее по отцовскому абонементу домой. Там была главка о Федине. Я решил ему показать. Оказалось, что игра на советской сцене перенеслась уже и на Лаврушинский. Попасть к Федину на этот раз было сложно. Он был занят, когда я наконец был допущен к нему на квартиру, он на минуту вышел ко мне, просил подождать, велел дочери Нине узнать пока, в чем состоит мое дело. Нина без большого интереса слушала, как итальянский славист оценивает раннего Федина, но после этого и мне было позволено поговорить с самим Фединым. О причине его осторожности я догадался позднее: мама, а за ней и другие просили Федина, уже ставшего влиятельным чиновником,

содействовать присуждению Пастернаку Сталинской премии за его перевод «Фауста», Федин боялся, что и я начну хлопотать о том же. А ничего для Пастернака делать он уже не хотел.

Я был не единственным старым знакомым, с кем Федин не торопился встретиться. Тут я оказался в хорошей компании. Весной 1954 года Ахматова с Ниной Антоновной (женой Ардова) были у нас у гостях на даче. Родители позвали и Федина. Войдя, он стал сбивчиво извиняться, что не ответил на звонок Анны Андреевны, когда та недели за две до того приехала из Ленинграда. Ахматова ценила его как память о прошлом. Он вспоминал изумление, всеми испытанное, когда Ахматова изгибалась, доставая кончиками пальцев ног до головы. Мы вместе с ней возвращались в Москву. Она сказал мне: «Почти никого не осталось, кто помнит. А Федин помнит».

Федин среди друзей родителей поздравлял меня с первыми научными успехами. Как-то у себя на даче (вновь отстроенной после пожара) показывал мне книжную полку, где отвел место моим первым публикациям и тому, что обо мне писали в газетах.

Когда после XX съезда застрелился Фадеев (я слышал звук выстрела, занимаясь в комнате, окна которой выходили в сторону фадеевской дачи), Федин, как и мой отец, прибежал на дачу Фадеева. Они видели в кабинете его труп (он лежал раздетый до трусов на постели), револьвер рядом с ним и конверт с письмом в ЦК (оно недавно опубликовано и поражает узостью взгляда). Вечером Федан пришел к нам. Он был близо к с Фадеевым, который и вовлек его в официальные действа Союза писателей. Пока Федин обсуждал с нами судьбу Фадеева, сказали, что к нам приехал Полевой. Федин с кривой усмешкой: «Разведка приехала». Меня заинтересовало, что себя и нас он объединяет, противопоставляя «их» разведке. А что в это время можно было у него выведать?

Началось поношение «Литературной Москвы». Хрущев на встречах хамил писателям. Я об этом знал от родителей, которые были на памятном банкете под шатром. На следующий день после этого приема я выходил из дома на Лаврушинском, собираясь идти читать лекцию в университет. Меня окликнул Федин. Он предложил подвезти меня на своей машине. Ему не терпелось поговорить о хрущевской грубости. Он сравнивал Хрущева, накинувшегося на Алигер, с деревенским мужиком, который таскает жену за волосы по полу. Через несколько дней я узнал, что Федин сам принял деятельное участие в преследовании «Литературной Москвы».

Когда я вернулся из поездки на Международный съезд лингвистов в Осло в августе 1957 года, привезя новые книги и

рассказы о Европе, к нам зашел вечером Федин. Послушав меня, он поделился своими заботами. Завтра он едет в Союз писателей, чтобы вместе с другими его руководителями добиться от Пастернака отказа от издания «Доктора Живаго». Я не мог сдержаться и стал многоречиво убеждать его, что этого делать нельзя. Сколько людей у нас уже погублено, и за это надо держать ответ. Пора остановиться. К тому же, уверял я его, никто не верит в долговечность Хрущева, зачем опять срамиться? Федин слушал меня молча, только все сильнее и сильнее кашлял, наклонясь вперед и всем своим видом говоря мне и моим родителям: я старый больной человек, у меня был туберкулез (эта тема со времен «Санатория Арктур» не прекращалась), к чему мне все эти речи молодого вольнолюбивого удачника? Наконец он ответил: «Может быть, ты и прав, но тогда нельзя жить». Наутро он поехал шантажировать Пастернака и продолжал это занятие в течение года, пока я его не видел.

В октябре следующего года вечером Пастернак прибежал к моим родителям на дачу (я был в городе и узнал об этом на следующий день) и рассказал им, что у него сидит Федин, ждущий ответа. К тому приехал заведующий отделом (или чем-то в этом роде) ЦК партии Поликарпов (в то время один из главных душителей литературы). Он требует, чтобы Пастернак отказался от Нобелевской премии. Пастернак спрашивал совета у моих родителей. Вернувшись, он сказал Федину, что не откажется. Федин ушел передавать ответ Поликарпову. Больше до смерти Пастернака они не виделись.

Когда после начала преследований Пастернака меня в конце той же осени допрашивала комиссия филологического факультета, мне сообщили, что через Суркова обращались по поводу меня к Федину. Он подтвердил, что моя точка зрения противоречит официальной.

Я сам через несколько лет с Фединым виделся еще раза два, удивляясь, как быстро он разваливался. Оставался еще фасад, внешность, голос, потом и это ушло, и место прежних интеллигентных друзей, издателя Алянского, архитектора Самойлова, заняли монстры из аппарата Союза писателей. Фрида Вигдорова, которой я рассказал историю наших с ним отношений, тем не менее — или именно поэтому — попросила меня передать ему письмо его старого знакомого ленинградского ученого И. М. Дьяконова с просьбой о возвращении Бродского из ссылки. Я написал ему по этому поводу и от себя записку. Он попросил меня зайти, расспрашивал об обстоятельствах дела, вроде был настроен сочувственно. Пытался ли он что-нибудь сделать, не знаю. Как будто, наоборот, нечто реальное сделал Полевой,

которого Федин раньше обозвал «разведкой». И выяснилось, что все уперлось в Хрущева. Только после его снятия Бродский вернулся в Ленинград.

Но в Переделкине говорили, что Брежнев приезжал к Федину советоваться, как поступить с Синявским: исключить из Союза писателей или арестовать. И якобы Федин предпочел второе. Это на уровне кухонных слухов, авторитетно рассказанных домработницами. А достоверно мы знали, что, когда исключали из Союза писателей старого фединского ленинградского знакомого Ю. Г. Оксмана за его переписку со Струве и другие грехи, обнаруженные тайной полицией, Федин прислал письмо, где присоединился к обвинителям.

Судьба Федина, откровенная продажа себя, предательство по отношению к друзьям, потеря писательского дара совсем не единичны. Похожим был путь другого серапиона — Тихонова, небездарного поэта, потом руководителя Союза писателей и члена или главы бесконечных комитетов. У нас он бывал только до войны и для меня остался болтуном и выдумщиком, человеком вполне недостоверным и несерьезным, хотя иногда и добрым и способным помочь людям.

7

Из других серапионов Каверин, которого сам я потом хорошо знал по Переделкину, был по литературному направлению очень далек от моего отца (пожалуй, единственный из всех серапионов он начал с прямых подражаний Гофману, но потом ушел к обычной занимательной прозе). Меня занимали частично самим Кавериным потом напечатанные рассказы его о двадцатых годах и Тынянове, которого он боготворил. Тынянова я видел только раз перед войной, когда он провел у нас на Лаврушинском долгий день. Он пришел к Шкловскому, жившему в том же доме несколькими этажами выше, не застал того дома (Шкловский забыл об условленной встрече и пришел к нам только часа через четыре) и просидел весь тот вечер у нас. Меня поразил высокий тыняновский лоб. В тот раз он рассказывал о своем замысле вещи, героем которой должен был стать Ян д'Акоста, шут при дворе Петра Великого. Я не знал еще, что через несколько лет начну вчитываться в его книги, учась у него уже после его смерти, как подмастерье.

Шкловский формально не входил в число серапионов, но был с тех самых времен очень дружен с отцом. Он сам рассказал в своих воспоминаниях, как он по описанию Горького узнал отца на улице. А я от отца знаю об обстоятельствах их короткой встречи перед вынужденной эмиграцией Шкловского. В тот день утром

отец в качестве главной новости на первой странице утренней петроградской газеты прочитал о раскрытии террористической эсеровской группы. Среди ее участников был назван Шкловский. Отец любил Шкловского и был очень опечален, думая, что тот арестован. Жизнь, однако, шла по-заведенному, и надо было идти в Госиздат получать гонорар. Войдя в издательство, отец в изумлении увидел у еще закрытого окошка кассы Шкловского, дожидающегося кассира. Он сидел на столе, болтая ногами. Понизив голос, отец спросил его: «Витя, это о тебе в газете?» — «Да — бодро отвечал Шкловский. — Ноя уже договорился, меня переведут через финскую границу. За это надо заплатить. А у меня нет денег. Поэтому я пришел сюда заранее, чтобы занять место в очереди». Все так и вышло. От Каверина я узнал, что бдительные чекисты в это время искали Шкловского в доме у Тынянова, где устроили засаду: сутки оттуда никто (в том числе и Каверин) не мог уйти. А тем временем окошко кассы открылось, вскоре Шкловский перешел через границу и оказался потом в Берлине, о чем сам написал в «Zoo». Эта книжка кончается его письмом во ВЦИК, где он просит дать ему возможность вернуться на родину и после этого не мстить ему (он вспоминает о виденных им во время войны в Месопотамии трупах курдов, которым рубили руку, поднятую для сдачи в плен). Отец считал, что это письмо в самом деле оградило Шкловского от возможности ареста (позднее на свободе оставались только такие защищенные старыми связями эсеры, как Екатерина Павловна Пешкова, жена Горького, и ее спутник и друг М. К. Николаев). Почему явно обреченных на гибель людей иногда щадила (или по русской безалаберности пропускала не заметив?) запущенная Сталиным машина террора, сказать трудно. Но Шкловский, после возвращения из эмиграции отстаивавший формализм от нападок марксистов (Ираклий Андроников рассказывал мне о публичном диспуте, на котором Шкловский ударил оппонента ботинком в пах, добавив, что формалисты знают, куда бить!), потом сломался. И не только в своих писаниях, почти всегда сохранявших, впрочем, остроту формулировок, но и в общественном поведении. Он участвовал не только в гонениях на Зощенко, но и порой присоединялся к общему поношению других своих друзей, в том числе и моего отца. Но ему обычно прощали, зная его неустойчивую истеричность, хорошо описанную Форш в «Сумасшедшем корабле». Нельзя было отказать ему в смелости. Он показал ее в Первой мировой войне. А во второй из великих войн отцу пришлось дежурить ночами на крыше на Лаврушинском вместе с другими писателями. Его поражало спокойствие Пастернака, ловко, как будто он копал в своем

огороде.управлявшегося с зажигательными бомбами: он их ловил и лопатой отправлял в бочки с водой. Шкловский не выходил на крышу, а засыпал на чердаке на подушке, с собой принесенной, и не просыпался.

Ранние вещи отца Шкловскому очень нравились. На один из его юбилеев Шкловский прислал поздравительное письмо, где писал, что из всех вылетавших вместе одной стаей у отца были самые сильные крылья. Вскоре после возвращения из эмиграции Шкловский вместе с отцом написал фантастический роман «Иприт», совсем недавно (уже в эпоху реформ) снова переизданный. Для отца это было сознательное упражнение в построении сюжета. К остросюжетной литературе, ориентированной на западные образцы, призывал своих братьев-серапионов их рано уехавший за границу и там вскоре умерший собрат Лев Лунц, которого мой отец очень любил и часто вспоминал, виня себя в несчастье: отец предложил качать Лунца, все дружно качали, но уронили его; если хотите, страшноватый образ будущей судьбы Серапионова братства, поведения Федина и Тихонова по отношению к Зощенко. Уговоры Лунца и Шкловского по поводу желательности сюжетного построения на отца подействовали. Он и сам любил читать литературу приключений. Русское собрание сочинений Стивенсона было в заветном тюке, который я стерег во время эвакуации. А в бумагах отца по теории литературы, частично изданных посмертно, есть немало записей относительно построения сюжета (многие из этих мыслей я слышал от отца во время войны, когда он занимался ролью ошибки в художественном построении). Роман «У» отличается сложно сконструированным сюжетом или, скорее, пародией на него, в чем можно усмотреть влияние Шкловского и других формалистов. А Стерна — главный предмет разбора в «Теории прозы» Шкловского — отец перечитывал постоянно, считая его писателем для писателей. Розанова — другой объект занятий молодого Шкловского прозой со сложным построением — отец собрал у себя дома всего, и я с молодости перекормился его сочинениями — и удивительными, как «Опавшие листья», и омерзительными, как чудовищная книжонка об отношении евреев к крови; при всей его одаренности меня от него отталкивал какой-то тусклый провинциализм и безвкусица.

Я помню Шкловского с ранних лет, дружил с его детьми, они летом отдыхали всей семьей (но обычно без Шкловского, изредка наезжавшего) вместе с нами на юге или у нас на даче. А когда мы переехали на Лаврушинский, Шкловский забегал к нам почти каждый день. По лестнице, а потом по переулку, спускался или, вернее, скатывался его громкий голос: если не было собеседника

или собеседницы, он так же полнозвучно изъяснялся сам с собой. Кончив утреннюю порцию работы, он заходил к нам поговорить с отцом, к тому времени тоже обыкновенно прерывавшим занятия. Если отца не было, он с моей помощью выбирал себе книгу для чтения (например, том Жюля Верна). У него самого была очень большая библиотека. Читал он очень много. Уже в послевоенные годы он говорил мне, что за вечер прочитывает страниц четыреста. Уезжая с Лаврушинского после того, как вся его библиотека была продана, Шкловский отдал мне старые словари, оставшиеся у него от брата-филолога, погибшего в заключении.

Мне нравилась афористическая, всегда парадоксальная и часто очень остроумная манера Шкловского говорить, сохранившаяся и тогда, когда писать он стал скучнее. Отец повторял некоторые его изречения. Во время войны, когда вместо большевистских лозунгов возникли ура-патриотические, Шкловский сказал, что мы воюем под псевдонимом. В 1942 году в эвакуации Шкловский из Алма-Аты приезжал к нам в Ташкент, а потом из Москвы прислал отцу открытку. В ней его невозможными каракулями было описано, что творится в столице. Он цитировал часто повторявшийся отцом в подвыпитии рассказ о медведе в зверинце в Петрограде во время разрухи. Его нечем было кормить, давали одну капусту. Медведь с отвращением запускал лапу в бочонок с капустой, ел и ревел. Но делать нечего — опять принимался есть и ревел в отчаянии. В открытке Шкловский сообщал: все по-старому, «медведь ест капусту».

Отец вернулся в конце того же года в Москву, есть капусту повседневной газетной работы. А мы с братом, переболев брюшным тифом, и со всей остальной семьей, нас во время тифа выхаживавшей, приехали к нему весной следующего года. Шкловский был одним из первых, кого мы в Москве увидели. Мы были у него дома, он нам рассказывал про фильм «Леди Гамильтон», шедший из уважения к британскому союзнику в «Ударнике». Он объяснял подросткам популярно: «Леди Гамильтон была проститутка. Она жила с Нельсоном».

Несколько раз Шкловский приходил к отцу сразу из больницы, где он навещал Тынянова, постепенно умиравшего от рассеянного склероза.

Другой кадр из военных лет. Отец был на фронте. Мы сидели с мамой и Шкловским в отцовском кабинете. Мама заговорила о моем интересе к поэзии. Шкловский стал рассуждать о том немногом, что остается от написанных стихов, цитировал Маяковского:

Из меня слепым Вием
Время орет...

Любимый сын Шкловского Китя (Никита) приезжал к родителям с фронта, пересказывал мне свои разговоры с отцом, гуляя по вечерней Москве. В «Иприте» авторы писали, что у одного из них (Шкловского) есть сын, у другого (Всеволода Иванова) — дочь Глядишь, подрастут, поженятся. Сестру убили лет через тридцать после того, как Китя погиб на фронте в самые последние дни войны. Его смерть потрясла Шкловского.

В 1952 году Шкловский позвал меня слушать его лекции в Литинституте. Ничего более замечательного как особый вид ораторского искусства я в своей жизни не знал, кроме докладов и других устных выступлений Романа Якобсона. Шкловский продолжал думать вслух на людях. Это не было похоже на его книги, даже и те, которые по названию совпадали с темой лекций. В последних он оставался самим собой и не был стеснен обычными рамками. Увидев меня среди слушателей, он прервал свой рассказ об одном из русских малоизвестных писателей прошлого века. «А вы со Всеволодом его читаете?» — спросил он меня. Ограничений общепринятого академического свойства в его лекциях не было.

Тогда же Шкловский пригласил меня с Таней на блины к себе на дачу. Удивила компания дачных соседей, с нами вместе приглашенных. Среди них был Гулия, работавший в «Литературной газете». Шкловский, хотя на него по привычке и нападали заодно с другими (например, во время антикосмополитической кампании Симонов припомнил ему «Гамбургский счет»), оставался внутри советской литературы. Это позволило ему в конце жизни поездить за границу (не думая о том, что меня туда не пускают, он мне советовал: «Никогда не берите с собой за границу жену. Жены ходят по магазинам, а вы стоите у входа и ждете»), напечатать несколько слабых новых книг и переделки старых, не лучших. Но это же помешало выявлению того таланта, который все еще присутствовал в его разговорах, импровизациях, лекциях.

В лекциях чувствовалось внимательное его отношение к литературному тексту; может быть, это было единственным, к чему он, как и Розанов, относился всерьез — не к людям, не к политике, ему и в самом деле оставался безразличен цвет флага. Его раздражало чистое конструирование схем у многих из нас. В длинной рекомендации, которую он же незадолго до смерти мне написал для поступления в Союз писателей, он упрекал меня в том, что сам я не стоял у монтажного стола. Он имел право на

такие упреки (при том, что меня он часто и незаслуженно хвалил), потому что сам он был отличным ремесленником в своих занятиях и кино, и литературой. Возможно, что по этой же причине его не устраивал структурный анализ Лотмана. Я был у него вскоре после его возвращения из очередной поездки на Запад. Он с раздражением говорил о всемирной славе Лотмана, упрекая того в крайнем упрощении литературных разборов. Тот сделал их доступными, как таблицу умножения, для школьных учителей, по словам Шкловского. Мне тогда показалось, здесь была и ревность к Лотману, уже тогда известностью соперничавшему с ранним Шкловским-формали- стом. Была и разница поколений, как в споре Проппа с Леви-Стросом, который свой структурный метод противопоставлял формальному у Проппа, в «Морфологии сказки» доводившего до предела принципы цитированной им «Теории прозы» Шкловского (сами формалисты нередко свой метод называли «морфологическим»). Их нелюбовь с Лотманом была взаимной: тот не спешил печатать в своем издании статьи, безоговорочно возрождавшие формализм.

Шкловскому всегда на самом деле было чуждо упрощенчество по отношению к литературе. Каверин мне рассказывал, как он в молодости читал Шкловскому свои стихи. «Элементарно», — заключил Шкловский. И для окончательного подтверждения приговора обратился к жене: «Люся, правда — элементарно?» Надо, впрочем, сказать, что свойственник Каверина — Тынянов еще язвительнее судил о его литературных достоинствах. Когда Каверин упомянул что он собирался стать моряком, Тынянов отозвался немедленно: «А может быть, это и было бы лучше?» Элементарность, претившая формалистам, и читательский успех, как у Каверина, идут рука об руку.

Я сохранил восторженное отношение к ранним формалистам. Я продолжаю думать, что они дальше всех заглянули в будущее гуманитарных наук, опередив свой век надолго. Конечно, изобрел остранение как прием не Шкловский, а Лев Толстой, но Шкловский его у Толстого открыл и обобщил этот вывод на другие случаи. Мне удалось успеть показать Шкловскому толстенную книгу венского слависта Ханзен-Ле- ве, посвященную в Основном развитию мыслей, изложенных в тощей книге молодого Шкловского: было что развивать. О своей оценке «Теории прозы» Шкловского, тогда не переиздававшейся (впервые это удалось только после реформ, когда Шкловского уже не было в живых), я говорил на двух его юбилеях в Доме литераторов. На первом из них в самом начале 60-х годов официальных советских критиков его теории я сравнивал с тем обязательным фраком,

который нужен для сюжетного построения согласно разбору детектива в «Теории прозы».

Вскоре после второго из этих юбилеев Шкловский позвал меня с моей женой Светланой к себе. Мы просидели у него несколько часов, он много вспоминал (в частности, о Мейерхольде). Но и наши с ним отношения были все уже в области давно прошедшего. Нас соединяла его любовь к произведениям моего отца (он был деятельным членом комиссии по его литературному наследию, писал отзывы на его неизданные вещи, помогал их печатать), мое юношеское увлечение его ранними книгами. Нас разъединяла его неверность по отношению к себе самому и своим старым друзьям. Любитель парадоксов, часто ими злоупотреблявший, он понимал противоречивые преимущества своего возраста. Однажды, когда я к нему пришел, он потер привычным жестом свой бритый череп и сказал с характерной полуусмешкой остроумца: «Ну вот, в моем возрасте Лев Толстой давно уже умер». Физически Шкловский был в последние годы слаб, на один из последних памятных дней, когда мама отмечала день рождения отца, его внесли к нам на дачу, ноги не ходили. Но у него был прежний дар слова, мощь оратора (как он говорил, от митингов времени начала революции), внезапное острословие, юмор. Не было того, что приходит со старостью у редких счастливцев: озарения, понимания, зачем все было нужно. Он до конца своих дней оставался вундеркиндом с поверхностным блеском ассоциаций, связывавших обрывки разрозненных идей и образов, но чудо тех первых лет, когда возник формализм, уже не повторялось.

СТИХИ И ПЕРЕВОД

8

Дети, выросшие в домах, где звучит музыка, нередко сами ею заражаются. Я слышал все время, как отец повторяет или скорее напевает на какой-то мотив стихотворные строки (чаще всего пушкинские, особенно из «Медного всадника», иногда в чтении он слегка их переиначивал). Я еще не знал их письменного вида и оттого иногда ошибался в их понимании: в сочетании «и граф Хвостов» мне слышалось деепричастие «играв», и тогда нельзя было понять, почему же совсем не тот падеж у «хвостов»: ведь если уж играть, то хвостами (или в хвосты)? В те годы моего детства отцу самому хотелось писать стихи. Как-то, держа в руках только что вышедшую антологию переводов английской поэзии, он спрашивал меня, как бы я отнесся к тому, чтобы он и его друзья-прозаики перешли на писание стихов. Он рассказывал о

судьбе Томаса Харди, чьи романы (отцу близкие своей физиологической первозданностью) прославились задолго до того, как он выступил как поэт. Целую вечность спустя Бродский спросил меня как о недавно узнанной новости, знаю ли я о стихах Харди. К тому времени я давно читал уже и стихи, и романы Харди по-английски. Сравнивая два эти разговора о Харди, я подумал, что моя биография сделала мне известным очень рано то, до чего другие долго добирались (так еще во время войны я прочитал воронежские и еще более поздние стихи Мандельштама в рукописной хрестоматии, составленной дружившим со мной в юности Валей Берестовым, которому в Ташкенте их показала Надежда Яковлевна). Может быть, обстоятельства рождения и воспитания тем самым и избавили меня от радости трудного постижения: все было почти сначала известно, положено феей (роль которой чаще всего исполнял мой отец) в колыбель. Покойный Макс Бременер, будущий детский писатель, подружившийся со мной и братом в начале эвакуации, не мог мне поверить, когда я при знакомстве как визитными карточками засыпал его десятками имен прочитанных мной писателей.

Свое желание писать стихи отец начал осуществлять: к прерванной четвертой части «Похождений факира» он написал верлибры, напечатанные только в посмертном собрании сочинений. Более традиционной форме он следовал в нескольких стихотворениях более домашнего свойства, например, в стихах, обращенных к моему брату, катавшемуся на лыжах, или в стиле Уитмена описывающих клубнику в нашем саду во время войны и то, как мама ее собирает. Это было возвращением к прерванным грехам молодости: всерьез писать стихи (или показывать их другим?) отец перестал после того, как потерпел неудачу в начале его встреч с серапионами, прочитав им поэму, написанную гекзаметрами. Как мне рассказывал один из них, очень резко ее осудил Зощенко. Из многих стихов, сочиненных до того, посмертно были напечатаны «Киргизские самоклядки», написанные в стиле песен, которые импровизирует во время езды верхом чуть не каждый всадник-казах (отец в юности, частично проведенной на севере Казахстана, неплохо знал казахский язык). Позднее лирическое начало присутствовало в его прозе, грозя иногда перейти в плетение словес. Я одно время носился с мыслью собрать книгу «поэтических отрывков из прозы Всеволода Иванова» по образцу аналогичной антологии из фрагментов Томаса Вулфа.

Стихи, которые отец мне читал в детстве как свои ранние опыты, совпадают с отдельными текстами, вошедшими в рукописный посмертный сборник его друга, поэта Георгия

Маслова. Во время правления Колчака они входили в одну литературную группу, вместе печатались в «Соградах», поэтому среди бумаг одного из них легко могли оказаться рукописи другого, тем более что отец был на полулегальном положении как бывший красногвардеец. Сборник Маслова был составлен после его гибели, и он сам не мог проверить тексты. Скорее всего, они были написаны отцом. Может ли быть, что он сам спутал запомненные им стихи Маслова со своими? Это маловероятно. Отец читал мне строки из единственной поэмы Маслова «Аврора»ˆ напечатанной Тыняновым — другом их обоих — посмертно, и говорил мне, чьи это стихи. Он никому, кроме меня, стихов, авторство которых теперь под вопросом, не читал. Их нет в записанном виде в его архиве (он в основном состоит из рукописей гораздо более позднего времени). Вводить меня в заблуждение он не стал бы. Четверостишие, которое я уже печатал в эссе об отце и науке, по его словам, относилось к другу его юности Петьке Захарову, чьи приключения в нем упомянуты. Едва ли ошибка памяти может зайти так далеко. Есть и одно формальное соображение, говорящее в пользу того, что стихи — его. Он мне жаловался, что ему с трудом давались традиционные стихотворные размеры. Те стихи, о которых я говорю, большей частью написаны неправильными дольниками, в отличие от четко акмеистической поэтики Маслова петербургского периода (одно стихотворение с явно блоковской строфикой составляет исключение). Но окончательный ответ могут дать разыскания в сибирской печати того времени, где отец много печатался под псевдонимами, например, Тараканов. А пока историкам литературы можно посоветовать иметь в виду, что часть стихов, приписываемых Маслову, могла быть написана молодым Всеволодом Ивановым. Все это может быть еще одной иллюстрацией немыслимо, сложных проблем, возникающих при исследовании литературы, долгое время остававшейся вне печати, жившей запоминанием текстов и потаенной рукописной традицией.

Отец был не прочь предложить мне запомнить и потом прочитать домашним нравившееся ему стихотворение Блока. Но меня больше влекли несанкционированные книги. Я с воодушевлением читал сборник стихотворений Киплинга в русских переводах. Под их влиянием я начал сочинять и сам, пока втайне · от всех. Это тайнописание началось как раз перед войной и продолжалось в эвакуации в Ташкенте. Но всерьез поэзия занялась мной после моего выздоровления от брюшного тифа в Ташкенте весной 1943 года. Около изголовья оказались две книги Пастернака и третий том Блока. Впечатление было обжигающим.

Мир Блока открылся сразу и продолжал несколько лет составлять часть меня самого (как позднее, в университетские годы, стихи и письма Рильке). «Сестру мою жизнь» я запомнил наизусть. В университете я встретил людей, которые объединялись этим знанием. Но это не было чертой одного поколения. И. Н. Розанов, тот самый, который собрал первые издания русских поэтов, устроил викторину или анкету для ходивших, как мой отец со мной, обедать в столовую переделкинского Дома отдыха (позднее переименованного в Дом творчества, что приводило на ум Дом терпимости). Мы должны были написать в порядке предпочтения имена лучших поэтов нескольких эпох. Для современности почти единодушно участники викторины первым назвали Пастернака, а второй — Ахматову.

«Сестра моя жизнь» и некоторые другие ранние стихи Пастернака (я немного позднее познакомился основательно и с первым изданием «Поверх барьеров», которое было в отцовской библиотеке) позволили создать — или скорее помочь осознать где-то внутри брезживший — совсем новый способ восприятия жизни и природы. Я жил обнаружением образов, мгновенными запоминающимися впечатлениями, они имели самодовлеющую ценность независимо от того, что удалось потом зафиксировать в стихах (и несколько позже в прозе, сочиненной после чтения Марселя Пруста, но так и оставшейся без продолжения и куда-то засунутой, как и романы, написанные позже). Писанию своих стихов, да и чтению чужих, сопутствовало или скорее мешало цветовое восприятие звуков стиха. Каждая строка виделась как красочная картинка, и колористические оценки перевешивали все остальное.

Весной 1944 года в Москву приехал из ташкентской эвакуации, как мы годом раньше, молодой поэт (почти моего возраста) Валя Берестов. Он имел большой успех в московских литературных кругах. Мне его стихи тоже нравились. Сомнения я услышал только от моего отца и Пастернака. Отцу казалось, что Валя недостаточно наделен необходимой энергией, которая бы вывела его за рамки академизма, слишком хорошо знает предшествовавшую поэзию. Пастернаковское суждение я услышал, вернее, почти подслушал из-за двери, вернувшись довольно поздно домой. У родителей было сборище взрослых, на котором среди прочего читали стихи Вали вслух и обсуждали. Гулкий голос Пастернака высказывал критическое суждение по поводу не столько этих стихов, сколько всей продолжавшейся в них послесимволической поэтической традиции. Он говорил о трех школах — футуристах, акмеистах, имажинистах, развивавших, по его мнению, блоковский стиль, называл по этому

поводу себя, Маяковского, Есенина. «Блок мог говорить лилово, потому что его слушали лиловые люди». Теперь это не так.

Берестов часто приходил ко мне в Москве или приезжал на дачу, мы обсуждали с ним свои и чужие стихи, преимущественно Пастернака, Мандельштама, Анненского. Он повел меня в кружок молодых поэтов при издательстве «Молодая гвардия». Там я слышал очень смелые стихи Наума Манделя (тогда еще не взявшего псевдонима Коржавин) и Алика Есенина-Вольпина, с обоими из них я близко познакомился позже. Коржавин, пятидесятилетие встречи с которым мы недавно отметили, снова увидевшись в Норвичской летней школе русского языка, былдля меня образцом поэтической личности, может быть, еще и потому, что в его внешнем облике и манере речи не было ничего показного, деланного. Его «Декабристов» еще без имени автора я запомнил со слов моего друга М. Левина, арестованного (по обвинению, грозившему первоначально смертной казнью) вскоре после того, как я услышал от него эти стихи. Несколько коротких лирических стихотворений Эммы Коржавина были эталоном безыскусного непосредственного самораскрытия, к которому хотелось стремиться. У Алика я больше всего любил его перевод «Аннабель Ли» Эдгара По, виртуозный до умопомрачительности. Алик поражал естественной бесстрашностью своего неприятия режима. На большом факультетском вечере он читал стихи со строкой «еще у всех зажаты рты». Я встретил его в начале своих университетских лет на Каменном мосту. Он говорил мне о непонятности официальной философии, с которой должен был познакомиться для сдачи экзаменов: «Где эта объективная реальность, данная нам в ощущении, я ее не вижу!» Накануне ночью он не спал, сочиняя трактат на эту тему (за его публикацию за границей его много позже посадят в тюремный сумасшедший дом, я там его навещал: он читал корректуры своих примечаний к переводу книги по математической логике, с невозмутимостью сидя среди десятков заключенных-душевнобольных, бывших его сокамерниками в отрицавшейся им объективной реальности).

Макс Бременер, готовившийся к поступлению в Литературный институт, Валя Берестов, мой брат (унаследовавший художественный дар от своего отца — Бабеля и писавший очень авангардную прозу и гротескные стихи), и я весной 1944 года составили литературный рукописный журнал (я в нем был представлен короткими афоризмами, понравившимися К. Чуковскому, когда мы ему показали журнал). Он существовал в единственном экземпляре, но мы давали его читать, что вызвало испуг у отца Макса. Он пробовал даже спрятать у себя журнал.

Пришлось объясняться с Максом, не считавшим страхи отца преувеличенными. Кругом все боялись. Выбирать читателей и слушателей приходилось с осторожностью. Но постепенно я начинал читать свои стихи домашним, гораздо позже — друзьям (главным образом, университетским), а еще через несколько лет — поэтам.

Все больше меня заинтересовывало чтение стихов на других языках и поэтический перевод. Сперва я начинал переводить французских «проклятых» поэтов, стараясь подчеркнуть в них черты сходства с нравившимися мне поэтами нашего века. Французский язык благодаря стараниям мамы, нанявшей нам с братом гувернантку- француженку на старый лад, я знал с детства. Чтение Бодлера и поэтов, за ним следовавших, раздвинуло границы вселенной. Вместе с тем отличия системы стихосложения толкали к поискам новых форм или, во всяком случае, к использованию менее традиционных размеров. В качестве примера я приведу сделанный мной в шестнадцать лет перевод стихотворения Верлена, к которому обращались за последнее столетие поэты разных поколений:

Жалят меня.
Грустно звеня,
Вопли скрипок.
Воплощена
Жалость одна
В их долгих всхлипах.

Дрожу, когда
Я вспомню: «Да,
Я жил иначе».
Как раз тут
Часы бьют
И я плачу.

Я в листопад
Тоской объят.
Один на свете.
Взад и вперед
Меня мятет
Злой ветер.

Потом, по мере того, как я глубже занимался английской литературой, я пробовал переводить разных английских поэтов, главным образом, романтиков. Байрон оказался первым, кого я переводил профессионально, по заказу и с целью заработать

деньги. За ним последовал Гюго. Мой перевод его «Закатов» взялся отредактировать ценимый мной переводчик В. Левик. Он предложил мне заменить слово «крыша», точно переводившее соответствующее французское слово, более поэтическим «кровля».

Меня это поразило. Мы все старались продолжить то, что Мандельштам называл обмирщением языка поэзии. А в стихотворных переводах, оказывается, полагалось, наоборот, ограничивать словарь. С ремесленной стороной перевода я столкнулся еще более отчетливо спустя лет пятнадцать, когда переводчик «Дон Кихота» и «Гаргантюа» Н. М. Любимов редактировал сделанный мной стихотворный перевод с испанского пьесы Лопе де Вега «Без тайны нет и любви». Так называемая советская школа перевода, включавшая и очень дельных профессионалов — сторонников буквальных и очень точных переводов, как Лозинский, и вольных художников, позволявших себе, как Любимов, уйти далеко от подлинника, выработала много технических приемов, с которыми я постепенно знакомился. Другим и гораздо более содержательным опытом было сотрудничество с теми живыми поэтами, которых мне случалось переводить. Мне довелось уже на страницах рижского журнала «Даугава» вспоминать о латышском поэте Мирдзе Кемпе. В то лето 1948 года, когда я всерьез стал заниматься латышским языком, она мне предложила перевести несколько ее стихотворений и потом подробно со мной обсудила результаты моих усилий. Она же ввела меня в романтическую поэзию своего прежнего мужа Эрика Адамсона, пострадавшего от советской власти во время второго советского вторжения в Латвию. Его «Трубка грез» по-латышски стала для меня примером просветленной поэзии, в наш век редкой. Со сделанным по заказу Кемпе переводом одного стихотворения Райниса для «Библиотеки поэта» связан анекдот, обнаруживший некоторые свойства, отваживавшие меня от вышеупомянутой школы перевода. Я перевел стихотворение «Глубок покой долины», получив письмо от Кемпе. В последней строке я сознательно отступил от подлинника, как мне казалось, ради передачи более общего смысла всего текста. Кемпе попросила меня послать перевод в Ленинград Всеволоду Рождественскому, который вместе с ней редактировал том Райниса. Тот ответил письмом с просьбой прислать подстрочник (тогда большинство переводчиков литератур республик Союза работали по подстрочникам). Я составил для него дословный перевод. После этого он исправил мой стихотворный перевод, приведя его в соответствие с моим же дословным!

В воспоминаниях о друге моего отца украинском поэте

Миколе Бажане, напечатанных в сборниках, посвященных его памяти, я уже рассказывал о том, как Бажан долго занимался редактированием моего перевода своего стихотворения. Стихи были написаны к дню, когда в Доме литераторов отмечалась годовщина рождения отца. Бажан прислал стихи перед самым этим днем, но мне посчастливилось почти сразу найти русское соответствие этому для меня значительному сочинению: в нем Бажан вспоминал, как они вместе с отцом посещали храм Покрова на Нерли. Я прочел свой перевод на вечере. Издавая его потом в своем русском сборнике, Бажан исправил много мест, которые в письмах детально обсудил со мной. Всего интереснее было то, что он сличал мой перевод не столько с подлинником, сколько с тем, что он хотел сказать в стихотворении.

Мне самому всегда казалось и до сих пор кажется, что это исходное платоновское начало или идея лежит в основе стихотворения. Я назвал эту первооснову моделью, когда стал свои мысли о поэтическом переводе излагать на языке, более понятном для моих товарищей по занятиям машинным (как теперь говорят, автоматическим) переводом. Н. Я. Мандельштам спорит в одной из своих книг с моим представлением о модели (меня она не называет, а модель называет этим моим словом, со мной не соглашаясь). Я довольно много занимался теорией перевода, писал специальные разборы цветаевских французских переводов Пушкина и ее же переводов разных поэтов на русский, участвовал в разных конференциях и обсуждениях, устраивавшихся московской и ленинградской секциями перевода Союза писателей (позднее, во время реформ, я короткое время был и председателем московской секции). Это была очень интеллигентная и терпимая часть Союза писателей, я не раз приезжал в Ленинград, чтобы поучаствовать в поэтических вечерах этой секции (ее руководители сделали в Ленинграде и один из немногих моих собственных поэтических вечеров, где я читал свои стихи и переводы, другой такой вечер устроил в Москве композитор Фрид в клубе при Союзе композиторов).

В моих размышлениях о переводе все больше места занимала языковая его сторона. По мере того, как я заинтересовывался разными языками, я постепенно начинал понимать, что для меня с самых первых этапов изучения языка чтение стихов на нем оказывается ключом для всего дальнейшего (хотя, может быть, по той же причине ни на одном языке, включая и родной русский, я никогда не объяснялся достаточно толково и вразумительно на бытовые насущные темы). Поэзия языка открывалась через язык поэзии. Так Гейне и Рильке помогли мне понять немецкую речь, Тегнер — шведскую, Данте, Микеланджело и Пазолини —

итальянскую, Густаво Адольфо Бекер — испанскую. Когда я начал заниматься испанским в университете, в Москве еще был клуб, основанный испанскими эмигрантами времени гражданской войны. Испытанное тогда впервые особое чувство приобщения к чужой культуре вместе с теми, кто ею живет, я повторно испытал на вечере вьетнамской поэзии. Меня на него привел мой учитель вьетнамского языка одаренный лингвист Зыонг, учившийся сперва в аспирантуре, а потом в докторантуре в Москве. Тогда у нас училось много вьетнамцев, и слышать в их исполнении поэзию, основанную на тоновых различиях, доставляло удовольствие, сравнимое с концертом Софроницкого.

Те переводы, которыми я сам оставался доволен, чаще всего рождались очень медленно из наизусть заученных стихов подлинника, которые где-то внутри меня прорастали в русскую стихотворную форму. Иногда на перевод сравнительно короткого стихотворения уходят десятилетия. Только недавно я напечатал незадолго перед тем законченные переводы стихов Киплинга и Джойса, над которыми что-то внутри меня трудилось чуть не все послеуниверситетское время. Но в голове или на клочках бумаги всегда есть и множество незавершенных строк и строф (и чужих, и своих), задел на будущее, которое этому непрерывно работающему во мне перекодировщику кажется неограниченным.

Совсем особое чувство испытываешь, пытаясь проникнуть в возможный поэтический смысл стихов на мертвом языке. Приходится не только стремиться постичь значение образов, но и попытаться услышать исчезнувшее звучание. Собрание таких опытов вживания в тексты на языках древней Малой Азии я напечатал в небольшой книжке под названием «Луна, упавшая с неба» 15 лет назад. Я хотел продолжить этот опыт и по отношению к древнесемитским текстам из Угарита (на севере Сирии), но успел напечатать только первые наброски, как и из своих переводов памятников средневековых культур Китайского Туркестана. Последние годы я много занимался восстановлением фрагментов когда-то существовавшей поэзии на древних индоевропейских диалектах. Мы можем реконструировать их по совпадающим отражениям в древнегреческой, санскритской, древнеармянской литературе. Много неожиданного обнаруживается и в предыстории других родственных индоевропейских мифологических традиций, таких, как языческая праславянская (до принятия христианства). В этих занятиях мои научные и поэтические интересы соединились.

9

Борис Пастернак был близким другом моих родителей,

нашим соседом по Переделкино. Я знал его на протяжении всей моей сознательной жизни, при большой разнице в возрасте мы были близки, довольно часто виделись и разговаривали. Я написал о нем целую книгу, отрывки из которой печатались. Здесь я расскажу о нем только по поводу собственной судьбы и своих поэтических опытов.

О Пастернаке как великом поэте я слышал от своих родителей еще в детстве, присутствовал один раз, когда он перед войной читал отцу у себя на даче те стихи переделкинского цикла, которые потом вошли в книгу «На ранних поездах». В конце войны, когда я уже очень любил его поэзию молодых лет, я бывал на его вечерах и пытался убедить его читать и кое-что из тех его ранних стихов, от которых он готов был отказаться. Он рассказывал мне о начале своих занятий «Доктором Живаго», и я был на первых чтениях романа (потом читал беловую рукопись последней его части и обсуждал ее с ним). Пастернака мучило то, что он стал писать по-другому. Иногда он спрашивал, не ошибочен ли тот новый стилистический путь, который он выбрал. По его словам, в юности он мог написать «Одиссею» по поводу извозчика. А теперь не может. Как-то он рассказывал о том начальном впечатлении, как ему казалось, «почти неприличном», которое он хотел бы передать в стихах «С порога смотрит человек». Он ощутил близость к женщине, которой посвящено стихотворение, как подобие берега моря. Он, как море, со всех сторон к ней подступает, она, ее формы — как его берег. В молодости он бы из этого ощущения развил целую стихотворную бурю, симфонию. Сходным образом он рассказывал о мучительных переделках стихотворения, где вначале была строка «Тополей потолочные своды», передававшая исходное ощущение. Теперь же его больше всего заботило желание быть понятным. О прозе он говорил, что готов переделать фразу множество раз, лишь бы читатель понял, о чем идет речь.

В повседневных разговорах, в ежеминутном (часто мажорном) восприятии жизни, природы, каждого из окружающих Пастернак оставался тем неповторимо оригинальным поэтом, который воплощен больше всего в ранних его стихах. Оттого так трудно передать разговоры с ним. В его мычании и бормотании содержалось совсем новое и ни с чем не схожее видение мира. Мычала и бормотала неслыханная поэзия, поток еще не до конца воплотившихся образных впечатлений. Как воспринимающая личность он был колоссальным поэтическим явлением. В стихах того позднего периода, когда я лучше всего его знал, он иногда не до конца и не полностью раскрывал этот мир, очевидный для всех, его близко видевших.

Несколько раз заходила речь о том, чтобы я почитал ему стихи, но все время это откладывалось (я стеснялся, боялся отнять у него время, которым он очень дорожил). Летом 1948 года, когда дачу нам снова отстроили, он был у нас в гостях и захотел меня послушать. Его реакция была положительной, некоторые понравившиеся ему строки (преимущественно в духе его собственной тогдашней более классицистической манеры) он повторял (так было и с переводами Байрона, которые другой раз я читал при гостях у него дома). Давал советы, как переделать стихи, ему пришедшиеся по вкусу только кусками, опустить несущественное. Больше всего он оценил два стихотворения с гражданской нотой. По этому поводу он вспоминал то немногое, что в этом роде у нас было, Эрдмана и Клюева. Его одобрение и моя тогдашняя одержимость .ненавистью к существовавшему режиму побудили меня написать большое стихотворение (или маленькую поэму) в том же роде. Я набрался храбрости и пришел ему прочитать ее летом 1950 года. Он сидел за своим рабочим столом у окна в кабинете на втором этаже дачи. Я сказал ему, что стихи опасные. Он встал, в качестве единственной демонстративной предосторожности закрыл форточку, сел обратно, приготовился слушать. По окончании он сказал, что «в стихах есть сила, и сила как тема». Он назвал строки, которые ему понравились; перечисление вместе с некоторыми критическими замечаниями отчасти повторено в том более позднем письме ко мне, которое напечатано в книге «Пастернак об искусстве». Добавлю то, о чем говорилось в первом разговоре. Он предостерегал меня от злоупотребления иностранными словами, поясняя: «Я сам когда-то пробовал это делать. Тогда мне казалось, что это вносит разнообразие». Например, ему нравилось начало строфы

Лермонтовский летаргический сон
С вечнозеленым аккомпанементом.
Буду пока что снотворным спасен,
После дадут мне смертельный argentum.

Но он мне предлагал заменить «аккомпанемент» на «сопровождение» и дать какую-нибудь неприметную рифму к этому слову. Ему пришлась по вкусу строка о вечной женственности, которую не ценят. Но рядом с этим более глубоким слоем в тексте он видел и поверхностный, от которого меня предостерегал: «дурак только это и увидит». Он советовал мне снять этот слой, тогда стихи и не будут такими опасными. Видимо, в ответ на мою политическую откровенность рассказал,

как его вызывали на Лубянку. Он был там первый раз. От него хотели, чтобы он опознал почерк, которым была написана рукописная статья о нем, найденная при обыске в бумагах О. В. Ивин- ской: ее незадолго до того арестовали. Он хорошо знал автора статьи, но сделал вид, что никак не мог узнать почерк. Разыграл комедию: смотрел на страницу, говорил: «Да, как будто что-то знакомое, нет, не то, нет, не знаю». И снова повторял такой же трюк со следующей страницей. Он упомянул, что ему показали изъятый у Ивинской ранний вариант его «Гамлета», к которому был эпиграф из Бодлера. Пытался вспомнить французскую строчку, сбился, я ему напомнил: «Je sais que la douleure est une noblesse unique (Я знаю, что только в страдании заключается истинное благородство)». Его это почему-то поразило, и хотя передтем он просил никому не говорить про вызов на Лубянку, желая похвалить меня, он вскоре повторил свой рассказ при моих родителях и других гостях. Дойдя до Бодлера, он рассказал, как запнулся, говоря со мной, и как я ему подсказал эту строчку. «Ну и что из этого?» — спросил кто-то из присутствующих. «А то, что Кома знает наизусть или всего Бодлера, или все лучшее из Бодлера», — заключил Пастернак. В других случаях и он, и весь баловавший меня вниманием круг друзей родителей был излишне щедр в похвалах мне. Но правдой было то, что и я, и мои друзья тогда знали наизусть не только Пастернака, но и — на разных языках — главных европейских поэтов, составлявших его литературную родословную. Как-то на даче он поднялся в мою комнату посмотреть какую-то книгу. Увидел томик Рильке и попросил показать, что еще я из него читаю. На мои томики Insel-Verlag сказал: «Это все у нас есть дома». Из другого разговора я знаю, что не было у него некоторых томов писем Рильке и он тщетно искал их в магазине на улице Горького (а вместо увидел поразившие его испанские издания официальных советских писателей). Поздно вечером я встретил его в заснеженном (как в его ранних стихах) Лаврушинском, он возвращался из консерватории. Там он встретил сына Женю, стал говорить ему «об англо-ирландском поэте Йейтсе. Я раньше знал только ранние романтические его стихи. А теперь прочитал его зрелые стихи. Это замечательно». Женя в ответ сказал ему, что я ему говорил о Йейтсе. Мы изучали новую европейскую поэзию как неведомую страну, и тропы пересекались.

Мне случилось еще несколько раз читать стихи Пастернаку или в его присутствии. Он как-то сказал, чтобы я показал ему написанные тексты. Я сделал это весной 1958 года. Он читал мою папку довольно долго, что-то при встрече с о мной к случаю из нее процитировал. Наконец среди дня он пришел к нам на дачу,

принеся то письмо ко мне, о котором шла речь (он любил изъясняться письмами). Посидел недолго, попрощался, а потом минут через десять опять пришел запыхавшись. Он забыл сказать, что он показал папку с моими стихами Ивинской и той они понравились даже больше, чем первые опыты Андрея Вознесенского (тот тогда бывал у Пастернака и читал ему и его гостям стихи, один раз вместе со мной). Борис Леонидович боялся, что я обижусь на его критику, и хотел позолотить пилюлю. Он был бледен от волнения. Меня он любил, но не мог кривить душой, если ему по сути что-то не нравилось. Я оценил его серьезность в отношении моих писаний, зная, как легко он отделывается общими словами и комплиментами, если стихи его не затрагивают.

Несколько раз Пастернак мне давал читать стихи других поэтов, ему данные или присланные на суд. Ему нравился цикл Стефановича, посвященный Блоку, он находил в нем созвучие Анненскому, тому, что Пастернаку было близко в поэзии начала века. От него я получил несколько тетрадей Шаламова (еще только освободившегося) с просьбой отметить, что в них заслуживает внимания.

Вообще нежелание читать других поэтов, обижавшее Ахматову, у Пастернака скорее декларировалось, чем было реальным. Я передал ему первую книгу Слуцкого, с которым тогда дружил. Через некоторое время оказалось, что он ее читал. Он сказал мне, что к Слуцкому нужно отнестись с вниманием. Но когда они встретились у меня на дне рождения, разговора не вышло. Пастернак хотел выпить за здоровье Слуцкого. «Благодарю вас, я уже здоров», — ответил тот со своей солдатской грубостью. Разговор двух поэтов при встрече кажется сочиненным Хармсом. Еще неудачнее был разговор с Самойловым (на Новый год, 1960-й, уже перед смертью Пастернака, у нас на даче). Поздно ночью, когда уже встали из-за стола, мы сидели втроем — Борис Леонидович, Дэзик Самойлов (тогда мой близкий друг) и я. Пастернаку явно хотелось поговорить с Самойловым. Тот сильно выпили, не соображая, что делает, стал читать Пастернаку старые свои стихи, где он от имени молодых упрекает Пастернака в том, что он не выбрал, на чьей он стороне, красных или белых. Для меня и стихи (которые Самойлов до того мне читал, они совсем неудачные), и поведение Дэзика в ту ночь так до конца не ясны: Дэзик был умным и иногда просто валял дурака в делах, пограничных с политикой (иногда он позволял себе смелые поступки, как в начале следствия над Синявским и Даниэлем, когда он помог найти для них адвокатов, но эта линия не была последовательной). Отношение поэтов к Пастернаку их

для меня определяло: со Слуцким дружба прекратилась после его выступления на писательском собрании против Пастернака (в тот же вечер и на следующее утро мы с ним долго говорили, он был в страхе, теперь я думаю, что уже начиналась его болезнь), но и Самойлов, сбежавший от этого собрания на машине на юг, не прибавил себе веса в моих глазах. Я ценил неуклюжесть слога Слуцкого и гражданственность его стихов. Разговоры наши больше касались политики. Из моих стихотворений он выделял как раз то большое, которое не одобрял Пастернак. Слуцкий, впрочем, предостерегал меня от опасностей писания подобных стихотворений. Но когда уже после нашего раззна- комления мне предложили написать предисловие к цветаевскому тому в серии «Мастеров перевода», Слуцкий, редактировавший этот выпуск серии, просил меня по телефону избегать в нем политической темы (он не был одинок: один из математиков, друживших прежде со мной и слывший чуть не диссидентом, отказался помочь мне найти новую работу, сказав, что я в глазах всех слишком связан с политикой, политикобоязнь становилась видом эпидемического заболевания). В конце концов именно политические разногласия, никогда нами с ним прямо не обсуждавшиеся, затруднили мне в последующие годы дружбу с Самойловым: я любил его пушкинизи- рованный легкомысленный образ поэта, которого все не зовуг и не зовут к священной жертве, но он иногда злоупотреблял этими возможностями быть всех ничтожней. Но его «Пестель, поэт и Анна», прочитанные мне сразупосле их написания — мы случайно встретились днем в Доме литераторов, — меня заворожили, как и несколько других его стихотворений того времени. А он к моим стихам относился критически, считая, что я ошибочно не хочу входить в литературу: но я и в самом деле тогда не видел нужды в этом. По его словам, я готов был принять ответственность за мир, за Россию, но не за словесность. А я думал, что одно исключает другое, что роль признаваемого поэта несовместима с тем, о чем я хотел for да писать (это была книга верлибров с гражданским направлением). Слуцкий читал мне много из того, что только теперь, спустя столько лет после его смерти, напечатано. До разрыва со Слуцким — втроем, а после вдвоем с Дэзиком мы встречались часто. Человечески мы были настолько близки, что он посчитал необходимым со мной советоваться по поводу решения оставить прежнюю свою семью. Почему-то везло на роль советчика по таким делам: Роман Якобсон завел со мной однажды беседу на эту тему. И Пастернак, когда я навещал его как-то в больнице, стал мне объяснять, что менять ему семью не стоит. Он ошибся уже раз, это сделав. По его словам, смотри он на вещи

так, как теперь, он и с первой женой не стал бы расставаться.

Среди стихов, которые мне вскоре после того, как я научился читать, отец показал с восторгом в напечатанном виде, были вещи Заболоцкого, вошедшие потом в его «Вторую книгу». Их публикация была событием для моих родителей, и они спешили со мной поделиться, хотя мой возраст вроде совсем не подходил для этого чтения (об этом никто из нас не думал). Долго — все время, пока Заболоцкий был в лагере, да и позже — страницы с этими стихотворениями, вырванные из ленинградского журнала, хранились среди поэтических сборников в отцовском кабинете* Я любил наивный классицизм «Второй книги», знал стихи из нее наизусть, как и запомнившееся по первой журнальной публикации вступление к поэме Руставели в переводе Заболоцкого. В середине сороковых годов, как только его выпустили из лагеря и он приехал в Москву, я пошел на его вечер в Клубе писателей. Народу было очень мало, читал он не те стихи и не те переводы, что я любил. Позже для меня открылись достоинства его «Столбцов», особенно удивляло разительное сходство с первыми сборниками Т. С. Элиота с тою же смесью гротеска и лирики; после доклада, где я упомянул об этом, М. И. Стеблин-Каменский сказал мне, что и ему это приходило в голову. Как-то я прожил вместе с Заболоцким в Дубултах долгий срок в Доме творчества, мы иногда сталкивались в парке, где он один часами сидел на скамейке (обдумывал стихи?), я видел его пьющим пиво на станции, но мне не хотелось его тревожить. Чувство, выраженное в стихах Самойлова о разговоре с Заболоцким в Тарусе («Напрасно его беспокою»), мне мешало: видно, от Заболоцкого исходило нежелание случайного общения. Со старыми ленинградскими знакомыми, как с Германом, он оставался дружен и писал для них там же и тогда же шуточные стихи. Я познакомился с Заболоцким у Каверина, но разговор был коротким и незначащим: я запомнил только его фразу о погребе на недавно отстроенной каверинской даче — «туда бы забраться и писать стихи», мысль о необходимости отъединиться от мира, видимо, его одолевала. Внешность и манера говорить ничем не изобличали поэта, при знакомстве много лет спустя похожей особенностью поразил Чеслав Милош.

О Заболоцком заговорил со мной Пастернак примерно через год после того, как я был на его вечере. Мы возвращались на Лаврушинский вместе из Колонного зала. Там выступали ленинградские и московские поэты. Ахматова и Пастернак имели ошеломительный успех (про их фотографию вдвоем на этом вечере Ахматова потом часто говорила: «Сижу, зарабатываю постановление»). Разговор на пути домой кос* нулся Блока.

Пастернак стал рассказывать о споре с Заболоцким. Вот что я тогда записал: «У меня дважды был Заболоцкий. Я никогда не был его поклонником. Я очень ценю Хлебникова и все это, но есть такое направление формализма, идущее от него. Там какие-то слишком доки. То же самое одно время после той войны был очень в ходу Гельдерлин, немецкий полубезумный поэт времени Шиллера. Я никогда не мог его понять. Так же и Валери. Так вот Заболоцкий был у меня два раза. Он очень интересный, заковыристый. Но, представьте себе, — он не любит Блока. Я не могу представить себе, как можно писать стихи и не любить Блока. А у него, вероятно, такая вот предвзятая, рассудочная концепция, что Блок — это розы и все такое».

Вероятно, примерно к тому же или скорее немного более раннему времени относится и встреча Пастернака с Заболоцким дома у Андроникова, где (в однокомнатной квартире вместе с хозяевами, их двумя дочерьми и нянькой) Заболоцкий жил сразу по приезде из лагеря. По словам Андроникова, Заболоцкий все возвращался к разговору о значении Хлебникова. Пастернак уклонялся, говоря, что он ему далек. Но при этом приводил строки Хлебникова. Заболоцкий ловил его на этом: «А. но вы же знаете его!» Меня, воспитанного в семейной традиции почитания Хлебникова, этот спор очень занимал.

Еще раз Пастернак заговорил о Заболоцком со мной через несколько лет. Он рассказывал, что Заболоцкий был у него, целовал ему руки, читал свои стихи, которые на этот раз Пастернаку очень понравились. Он увидел в них устремленность к внешнему миру, как у Бодлера и Рильке, вообще в западной поэзии, а не сосредоточенность на самом поэте, как в современной русской поэзии. Прекрасная форма, великолепные точные рифмы. Пастернак обещал мне позвать меня вместе с Заболоцким, это так и не получилось.

Я услышал от Пастернака о Заболоцком еще раз, придя к нему на званый обед. Он сразу стал читать начало стихотворения, которое он в течение того дня дописал: «Быть знаменитым некрасиво». Он высказывал сомнения: «Это похоже на молодого Заболоцкого». Пастернак объяснял, что стихи он начал писать, потому что идут разговоры об издании сборника его стихов. Банников, составлявший сборник, думает, что стоит включить и несколько новых стихотворений. Пастернак начал было писать, но сомневался в пригодности написанного. Я вместе с первыми из съезжавшихся гостей разубеждал его. Первый полный вариант стихотворения (оно было тогда короче и в нескольких местах отличалось от того текста, который потом напечатан) Пастернак уже после обеда дописал в своем кабинете и нам прочитал к

вечеру.

Я уже дважды печатал свои воспоминания об Ахматовой. С ней я познакомился близко и стал часто встречаться в последнее десятилетие ее жизни. Но еще до этого я видел ее у Пастернака. Пастернак читал те главы романа, где Живаго селится на Урале. Гости — мы с женой и Журавлевы — уже собрались, среди слушателей были и дети — младший сын Пастернака Леня и его пасынок Стасик Нейгауз. Пастернак попросил согласия своей жены Зинаиды Николаевны на то, чтобы он сходил за Ахматовой, она, как обычно, остановилась на Ордынке у Ардовых, недалеко от Лаврушинского. До того он нередко упоминал Ахматову, свои разговоры с ней о поэзии, ее стихи. В то время они составляли в сознании Пастернака единое целое. Я представляю себе, кто и как настраивал Пастернака против нее. Ахматова критически относилась к роману, и ее отзывы, пересказанные Пастернаку, повредили их дружбе. В тот раз, когда мы вместе были на чтении, Ахматова больше других стремилась направить разговор на обсуждение услышанных глав. Но мне за этим померещилась скорее любезность и нежелание обидеть автора. Последняя их встреча у нас дома, уже незадолго до смерти Пастернака, не была удачной: Пастернак так и не восстановил прежних с ней отношений.

Среди других упреков Пастернаку, которые мне пришлось слышать от Ахматовой, она нередко повторяла, что он не читает никого из современников. Я тщетно пробовал ее разуверить. При мне Пастернак читал наизусть ее стихи «Не с теми я, кто бросил землю» в ответ на переданное ему зимой 1948 года предложение Фадеева отмежеваться от тех, кто хвалит его на Западе. Пастернак с проступавшей у него иногда нарочитой простонародностью речевых форм сказал: «Пусть лучше меня посодят». Он не может отмежеваться, потому что не знает, где проходит эта межа. А лучше всего об этом написала Ахматова. Он читал не сбиваясь, как хорошо ему известные стихи.

Вопреки всему, Ахматова продолжала твердить, что Пастернак ее стихов не знает. Она послала ему со мной книжку, выпущенную после стольких мучений в 1959 году, и была очень раздосадована, когда он ей позвонил и хвалил совсем старые ее стихи из этой книжки. Она не раз приводила в пример Пушкина, как он старался найти что-то хорошее в каждом из современников (не буду сейчас спорить с ней об этом). У нее был постоянный набор поэтов среднего поколения, которых она считала достойными создать целую школу. Беспощадна она была к Евтушенко и Вознесенскому, которых неизменно называла «эстрадниками». Выделяла Иосифа Бродского как личность,

постоянно устремленную на открытие нового в былой поэзии и музыке, и как поэта. Она была внимательна к моим стихам, прочитала и не одобрила кое-что из старых, а к более поздним, которые я ей читал более или менее регулярно по ходу писания, была снисходительна. Я не всегда мог отличить, что ей понравилось, а что она считала нужным похвалить из общих своих установок по отношению к стихам молодых. Но она исправила несколько невразумительно звучавших строк в двух моих стихотворениях, одно из которых — на ее тему, о России — попросила записать в ее тетрадь.

Трудно передать атмосферу страха и подозрительности, в которой жила Ахматова. Недаром она возвращалась к безумию того бреда преследования, который она усматривала в черновике пушкинского «Вновь я посетил». Ей тоже было свойственно подозревать самых близких друзей в предательстве. Ей казалось, что за ней следят неотступно, что все ее разговоры подслушиваются, что лучше всего ей жить в таком доме, хозяин которого — соглядатай, что лучше ей встречаться с той поклонницей, которая — заведомая стукачка (судя по недавно открывшимся архивам, она была близка к истине!). То и дело она делала рукой знак, означавший: они нас слушают. Она мне рассказывала, что единственная ее встреча с Цветаевой после возвращения той из эмиграции состоялась дома у Ардовых. Она была уверена, что за ними следят, что их подслушивают. Поэтому, хотя разговор был долгим, он по сути так и не состоялся. Она не сказала Цветаевой то, что хотела сказать, и думала, что и Цветаева по сходной причине не могла быть с ней откровенна.

Из поэтов, которых Ахматова больше других ценила в среднем поколении (теперь все эти различия достаточно относительны), я хорошо знал Арсения Александровича Тарковского и Семена Израилевича Липкина. Их обоих я увидел в Переделкинском Доме отдыха писателей в то лето перед концом войны, когда И. Н. Розанов был увлечен поэтической викториной и оба молодых поэта, вернувшихся с фронта, деятельно в ней участвовали. Русская поэзия проходила передо мной в оценках ее тонких и вдумчивых знатоков. Интеллектуальный клуб, который представляла тогда эта переделкинская столовая, отличался полной свободой суждений. О стихах Бунина и Мандельштама (имена которых вместе с фамилиями других эмигрировавших или загубленных властью поэтов Розанов включил в свой список) говорили безотносительно к их судьбе. Я. Э. Голосовкер, незадолго до того вышедший из лагеря (и, как я потом от него узнал, не имевший тогда права жить в Москве; он полулегально

жил на писательских дачах), рассуждал о мистицизме неоплатоников и кожной экземе, неизбежно этому сопутствовавшей. Уже по тем разговорам в столовой я знал об акмеистических вкусах Тарковского. Я слышал потом о нем от Сельвинского. Это было трудное для него время. На фронте он потерял ногу. Мучили боли в ампугиро- ванной конечности. Может быть, это было одной из причин, почему Тарковский отнесся ко мне с вниманием в то послевоенное лето, когда я из-за своей болезни ног вынужден был опять лежать неподвижно, на этот раз в саду возле дачи Сельвинского, где мы тогда жили. Тарковский, присев возле меня, рассказывал о своей первой книге стихов, тогда печатавшейся (она так и не вышла: постановление против Зощенко и Ахматовой, вышедшее тем летом, послужило знаком для прекращения всех цензурных послаблений и относительной вольности изданий военного времени). Он показывал корректуру книги Пастернаку, и тот сказал, что для первого раза ему много позволили (как выяснилось после нашего разговора, так и не позволили). Некоторые из его стихов я услышал и оценил уже тогда, другие запомнил в чтении общих знакомых. Начиная с середины пятидесятых годов мы нередко виделись. Я всегда просил его читать, что он делал охотно. В тот год, когда мы встречались на похоронах Заболоцкого и Фалька, во время одной из траурных церемоний я ему напомнил о своем постоянном желании слушать его стихи. Он ответил согласием, со своим мрачным юмором добавив, что готов читать мне когда угодно, но не во время похорон.

Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что тогда я был из числа совсем немногих, кто ценил Тарковского прежде всего как поэта. Как-то, живя в одно время с ним в Малеевке, я условился прийти к нему, чтобы он читал стихи. Он читал долго и с увлечением. Когда он кончил, его жена спросила: «Ну что, все отбарабанил?» Она сидела или лежала поодаль, занимаясь своим делом и не принимая участия в нашем разговоре. Другой раз мы договорились, что Тарковский почитает и моим родителям. Когда он уже сидел у отца в кабинете, мне позвонила подруга одной дамы, назначавшей мне свидание на этот же вечер. Я отказался, потому что не мог не слушать Тарковского.

Я не пропускал первых вечеров Тарковского, тогда очень малолюдных. На том, что был в Доме литераторов, мне запомнилась нервность его сына Андрея (то было еще до начала нашей с ним дружбы), он пересаживался с места на место, всячески выказывая свое беспокойство и недовольство тем, что отца недопонимают. Он был прав, и отчасти он пытался исправить непонимание теми местами в его фильмах, где читают

стихи его отца.

Потом мы нередко виделись с Тарковским в Переделкине, где я заходил в его комнату в Доме творчества или сопровождал его во время трудной для него прогулки по снегу. Мне нравилась не только сумрачность его постакмеистического высокого слога. Он читал неожиданные книги (по его словам, давно бросил читать обычную литературу). Суждения его о прочтенном были оригинальны. После переиздания Бабеля он говорил об избытке метафоризма у него, но какие-то остроумные фразы цитировал наизусть. Его мрачная сосредоточенность скрывалась под светской занимательностью, если в разговоре участвовало несколько людей. В Малеевке в компании пели песни. «А эту песню написал мой сын» (Андрея никто не знал, он еще был студентом или только кончил институт): «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела». Мне очень понравился тогда еще запрещенный фильм Тарковского-сына «Андрей Рублев». Посмотрев его, я сразу уехал в Ленинград и оттуда собирался послать телеграмму, поздравить режиссера с тем, что ему удалось сделать настоящий религиозный фильм. Когда, вернувшись в Москву, я сказал это Андрею (телеграмму я не послал, боясь, что она может осложнить и без того нелегкую участь фильма и его автора), тот задумчиво возразил: «А это же сказал мне отец. Он удивился, что для него, обрядово, церковно верующего, это православное искусство. Хотя я не церковный человек».

Тарковский-старший не раз в разговорах со мной возвращался и ко времени, когда они часто встречались с Цветаевой. Многое из этого уже стало широко известным из его стихов (мне он давал их в первых, еще машинописный копиях) и из того, что с его слов записано. Меня особенно поразил рассказ о том, как, уйдя с Цветаевой во время прогулки далеко за город, возле той деревни на Воробьевых горах, которую и я помню по довоенному времени, Тарковский тихо сказал ей (чтобы никто не подслушал), как он ей сочувствует по поводу ареста мужа. В ответ он услышал: «Вы не можете представить себе, какой это ужасный человек». Должен сказать, впрочем, что я знал и людей, защищавших С. Я. Эфрона. Его близко знал Эйснер, в прошлом эмигрантский поэт (его стихи ценил Слуцкий). Эйснера Эфрон уговаривал участвовать в его деятельности. Эйснер был убежден в романтической искренности Эфрона. Но мы уже знаем по опыту происходившего у нас, что искренность не может служить оправданием.

С Тарковским в моих юношеских переделкинских воспоминаниях, как и в позднейших разговорах с Ахматовой о «гамбургском счете» в поэзии, объединялся

С. И. Липкин. Мы с ним издавна были друг к другу расположены, изредка встречались, как-то, еще в университетские годы у В. С. Гроссмана, с которым Липкин дружил (я с Гроссманом много говорил на Рижском взморье в то лето 1948 года, когда он там читал нам прекрасное описание бомбежки Сталинграда из первого военного романа, им начатого). Однажды провели несколько дней вместе в Абхазии. Когда после начала следствия над Синявским я пытался организовать протесты общественности, Липкин, встретив меня в Доме литераторов, со своей умной улыбкой напомнил мне слова Гроссмана: «Без винчестера с ними не справишься». Но окончательно мы с женой сблизились с ним и с И. Лиснянской в пору гонений на них после «Метрополя». Мы часто встречались, читали стихи друг другу. Я давно оценил стихи Липкина как вершину русской религиозной поэзии. Липкин серьезно и по-деловому разбирал мои стихотворные опыты. Мы делились воспоминаниями. Он рассказывал мне о Королеве, которого он знал по Одессе еще в школьное время (Королев, как и вся история нашего космического взлета, меня занимал долгие годы, и здесь, как во многом другом, мне везло: я встречал людей, знавших его в разные периоды жизни, — один немецкий социалист-инженер, приехавший помогать нам строить новое общество, потом делал это на шарашке, где Королев — его сосед по нарам — чертил по ночам проекты космических кораблей).

От меня Семен Израилевич Липкин хотел услышать о моих детских впечатлениях о Переделкине и его первых обитателях, которых я знал с самого начала существования писательского городка. Мои рассказы в претворенном виде вошли в его послание «Вячеславу. Жизнь переделкинская», адресованное мне на державинский лад. Так я оказался и персонажем, и адресатом стихов, написанных в манере одного из тех поэтов, которыми я столько занимался в молодости!

Из поэтов старшего поколения я хорошо знал Сельвинского, удивлявшего смесью безусловной талантливости и недалекости. Мы ему сочувствовали, когда во время войны его стали травить за прекрасные стихи о России. Он пришел к нам сразу после разговора с компанией, которую мы прозвали «три толстяка». Это были Жданов, Щербаков и Маленков. Они были уполномочены Сталиным (который то ли болел, то ли не отошел совсем от страха первых недель войны) править Россией. Сталинское политбюро всем скопом обсуждало стихи Сельвинского. Литературной проницательностью блеснул «всесоюзный староста» Калинин — главный изменник крестьянства. На строку Сельвинского «Грачей, разумных, как крестьяне» он отозвался

обиженно: «Да что я, грач, что ли?» Пастернак, упоминающийся в осужденных Политбюро стихах Сельвинского («Люблю прекрасный русский стих,// Еще непонятый, однако,// И всех учителей моих// От Пушкина до Пастернака»), былу нас, когда Сельвинский, усталый, но твердый и мужественный (война окрыляла, потом я видел его в минуты слабости), рассказывал, как за час перед тем его шельмовали «три толстяка». Когда он ушел, Пастернак говорил, что из двух стихотворений, признанных тогда криминальными, ему нравится первое («Хохочет, обезумев, конь»), где он упомянут, но не за это, конечно. Поведение самого Сельвинского по отношению к Пастернаку после Нобелевской премии не имеет оправданий (они со Шкловским вместе написали осудительный текст).

Сходное ощущение моральной двойственности было у меня от Асеева, слушавшего мои стихи и интересно их обсуждавшего, но потом избегавшего серьезных разговоров. Он был артистичен, иногда блестящ, но пуст, как и друживший с ним Кирсанов.

Антокольский, послушав мои стихи, приглашал меня походить на его занятия в Литинстатуте, где он, по его словам, собирался давать студентам такие задания, как: написать сонет о Хлестакове. Не знаю, смог ли бы я в этом участвовать, но его как «космополита» выгнали из профессуры Литинститута через несколько дней после нашего разговора.

Серьезнее и подробнее стихи и литературу вообще обсуждал со мной Маршак, но во вкусах мы с ним расходились (особенно в том, что касалось более новой литературы, после одинаково нам дорогих Блейка и Китса). Когда я попросил Маршака помочь мне достать переводы, он отказался: «Голубчик, для этого надо давать взятки». Слава Богу, я обошелся без этого.

10

Стихи были бы невозможны, особенно в те времена, когда не приходилось думать об их публикации, если бы не было хотя бы небольшого круга слушателей и читателей. Сперва это было несколько ближайших университетский друзей. В 1960-е годы особенно два человека, которых уже нет: Константин Петрович Богатырев, поэт-переводчик и истинный ценитель поэзии, и Иван Дмитриевич Рожанский, философ, знаток поэзии и музыки, человек, универсально образованный и посвятивший жизнь древнегреческим мыслителям досократовского времени.

Когда Костю Богатырева убили (мы все винили КГБ, но, как потом с о. Александром Менем, преступника не нашли) и за границей готовился по-русски и по-немецки сборник его памяти, я второпях набросал строки его памяти, которые воспроизвожу

здесь.

ВИХРЬ

У людей одного поколения вдруг (для них внезапно) находится то, что их соединяет прочнее дат рождения и окончания школы. Поступив в университет, я, к своему изумлению, обнаружил, что не я один знаю наизусть всю «Сестру мою жизнь». Пастернак с юности раз и навсегда открылся тем, с кем я дружил в студенческое время.

У Кости Богатырева черта, общая для всех нас, стала его сутью и судьбой.

Теперь мне кажется, что в порывистости его речи и движений как бы пульсировали стихотворные размеры Пастернака, продолжалась бурность потока пастернаковских образов. Он не просто (как и другие из нас, кому довелось видеть Бориса Леонидовича) иной раз в своем эксцентрическом поведении и причудливой манере говорить подражал поэту, он воссоздал внутри себя подобие того же вихря. Он был воплощенным захлебом и разливом. Не от того ли его несло вихрем по улицам послевоенной Москвы, по коридорам тогдашних коммунальных квартир, университета и консерватории?

В те годы посетители последних вечеров Пастернака, переписчики его стихов словно основали незримую масонскую ложу, учредили тайный орден его имени.

Один из членов ордена показал мне в сорок седьмом году в университете только что перед тем написанные стихи из романа, сказав, что *Пастернак передал их Косте на концерте Рихтера. Костя делился с другими своим счастьем.*

Когда — *в наступивших вскоре трагических обстоятельствах* — он *смог передать силу своей привязанности самому Пастернаку, для тою это было очень важно. Сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, Борис Леонидович рассказывал мне,* что *ему говорил Петр Григорьевич, Костин отец, получивший разрешение повидать Костю на Севере. Костя сказал отцу, что именно благодаря Пастернаку и его стихам он смог все эти годы выдержать. Борис Леонидович сказал тогда, что эти слова Кости — из самых главных для него вещей, о которых он не может ни с кем говорить дома. Среди домашнею и мировою одиночества Пастернака тем заметней была Костина ему преданность.*

То, в какой мере Костина судьба была переплетена с пастернаковской, я потом уже понял, слушая рассказы Кости о следствии. При обыске у нею взяли машинописный текст первых частей романа и стихов Живаю. По ею словам следователь толковал стихотворение «Гамлет» как противоправительственное, читал Косте целую

литературоведческую лекцию об этом.

Костю (как и еще двух моих знакомых) следователь заподозрил и в сочинении стихов Коржавина, где Сталин назван «непонимавшим Пастернака» (едва ли худший из всех грехов деспота, при всей ею беспощадности).

В наш век подлинность чувства проверяется на краю, у обрыва, в кабинете следователя, на пустыре. Переплетение Костиной судьбы и пастернаковской длилось до последних дней, когда Костя часто приезжал к умирающему Борису Леонидовичу.

Я любил Костины рассказы о встречах с Пастернаком. В них меня привлекали не свидетельства чего-то случившегося, а сногсшибательная неожиданность, под стать самому Пастернаку.

Вот Костя на даче у Бориса Леонидовича со своим другом (позднее оговорившим Костю) и ею женой, по Костиному описанию — красавицей.

Она расположилась в эффектной позе на диване. Пастернак вдохновенно что-то объясняет, она ничего не понимает. Ее непонимание Костя умел живописать с не меньшей темпераментностью, чем напряженность речей самою Пастернака. Косте не изменяло чувство юмора, смех был обычно составляющей частью повествования.

В рассказах о Пастернаке он был точен, на первый взгляд мог быть и критичен. Как-то, передавая мне чей-то разговор с Пастернаком перед самой Нобелевской премией, Костя заметил: «Он стал еще эгоцентричнее». Интонация противоречила прямому смыслу фразы, она была восторженной. Впрочем, эгоцентричность для Кости не была осудительной характеристикой, он и сам сознательно к ней стремился. Но он никогда не мог стать эгоцентричным, как тою ни хотел. Ею всегда тянуло к очередному предмету увлечения. Это могла быть женщина *или книга. Он восторгался без удержу, не знал меры. Как других настоящих женолюбцев, ею занимали товарищи по безумству. Он их открывал — или уличал — с радостью. Назвав приятеля бабником, он потом пояснял мне,* что *ему достаточно было перехватить взгляд, брошенный тем на ею однокурсницу, чтобы поставить безошибочный диагноз. Сторона* жизни, *для нет мною значившая, не должна была оставаться в тени. Ему нравились писатели, писавшие, как он говорил, «очень неприлично», — Гюнтер Грасс, Фолкнер. Ему претила вычурность.*

Он и в разговорах близких знакомых ценил неожиданную грубость выражений. Как-то мы говорили о Лиле Юрьевне Брик. «При тебе она стесняется материться», — сказал Костя Он только что *перед тем был у нее. Она смотрела телевизор. Выступал один из бывших рапповцев, когда-то травивших*

Маяковскою. Она выругалась на телевизор. Костя повторил ее ругательство. Соль была не в непечатном слове (им сам Костя владел мастерски), а в парадоксе ею сочетания со светскостью бесед Лили Юрьевны.

Книги соперничали с женщинами. Начав читать немецкое сочинение о мифологии или статью о поэтике в «Вопросах литературы», Костя съезжал на время в юрод с дачи в Мичуринце, чтобы никто не *мешал читать. Слышать от нею о только* что *прочитанном было удивительно. Я помню захлебывающийся ею рассказ о Клаусе Манне. Он мог не просто заразить своей увлеченностью, степень ею соучастия в прочитанном граничила с соавторством.*

Оттого он и был прирожденным переводчиком по призванию. Он хотел делиться. Он хотел дать почувствовать другим свою радость. Оттого и по его книгам проходил ветер при ею прикосновении. Порядок на полках, подробнейший немецкий справочник произведений мировой литературы, хорошие переплеты, столько раз в чемоданах кочевавшие при переселениях с одной квартиры на другую, — все это было как частокол нужно, чтобы их не сдул начинавшийся ураган. Буря, поднявшаяся когда-то в томике стихов, так и не улеглась. Она подстерегала на книжной полке. Книги были знаками судьбы, как у чернокнижников.

У Кости им не удавалось жить порознь и обособленно, они становились рядом. Перетекали друг к другу не только строки, слова и грамматические формы, но и сами писатели. Самая серьезная из его работ — Рильке. Чтобы понять ее, надо знать его отношение и к Рильке, и к Пастернаку, который постоянно звучит в его переводах. Мы знаем, скольким обязан Пастернак Рильке, но в стихах Пастернака (кроме самых ранних и нескольких поздних из евангельского цикла) это почти неощутимо. Костя благодаря внутреннему сходству с пастернаковской стихией сумел по-русски передать то, что *соединяет двух поэтов. Это не только и не столько перевод, сколько соположение двух родственных традиций. Две реки в одном море — уже после впадения, когда их воды перемешались, — в самом Косте. Из двух поэтов Костя предпочитал все же Пастернака. Уже когда он был близок к завершению книги переводов, он говорил мне о достоинствах Пастернака по сравнению с Рильке. Мне запомнилось,* что достоинства *лежали не в сфере поэзии, а в жизни. Пастернака отличало,* что он умел любить (я *вспомнил страшное письмо Рильке, где он сомневается в том,* что *вообще любил кого-нибудь).*

Костя умел любить, а не просто увлекаться, погружаться с головой, теряя голову и очертя голову, быть одержимым. Как-то раз мне довелось испытать близко степень его

сверхдоброжелательного внимания. Ему понравились мои свободные стихи. Он принял в них такое участие, что *я не мог их не продолжить. Сама форма в них была нова и озадачивала иных слушателей, не только меня самого. Поэтому без Костиного одобрения едва ли я мог написать целую* кншу в этом *роде. Не знаю, оправдано ли в этом случае было Костино воодушевление, не мне это решать. Но я понял, как много мог Костя вызвать в другом силой своего внимания. Костя всех воспринимал таким крупным планом,* что *невольно при нем становились крупнее. Надо было дотянуться до уровня, который задавало его воодушевление.*

Я больше любил встречаться с ним случайно, на бегу (или на еще большей скорости — мы обо многом переговорили, мчась на такси через весь город за чемоданами, забытыми в гостинице Романом Якобсоном, оставшимся нас ждать на вокзале — а до отхода его поезда оставалось меньше часа), в библиотеке, на улице или даже на людях, но не тогда, когда это была запланированная встреча. Таких было тоже много, мы встречали вместе Новый год или бывали друг у друга в гостях, но иной раз он и уклонялся от того, чтобы его движение вставили в расписание. А если мы и были вместе в гостях, то разговор между нами зажигался, когда все уже прощались. Костя выходит как бы меня провожать. Глухой ночью мы идем *навеселе по улице и сворачиваем в почти не освещенный двор. Поднявшись по лестнице полуразвалившегося дома, Костя* стучит в *стену кулаком, чтобы не будить звонком соседей. Он вводит меня в заповедные переулки,* тупики и *строения, которые в тогдашней Москве еще не были снесены, а теперь о* них *прочтешь разве что в «Поверх барьеров»:*

Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе...

Костя, как все русские писатели золотого века, любил впечатления при разъезде гостей. После пирушки с участием тогдашних литературных знаменитостей Костя мне передал ощущение не от самой этой встречи, а от того, что было *потом: как один из преуспевающих поэтов помыкал другим — своим всегдашним соперником, велел тому сесть в такси и так и не дал проводить третью в их давнем треугольнике (скорее книжном, чем в жизненном, оттого я слышал от Кости не сплетню, а готовую главу из истории псевдолитературы: в иссякавшей словесности его занимали единственные ее живые персонажи — сами авторы).*

Костя не искал опыта. Тот сам его находил. Костина дорога всегда — до самого конца — была самой трудной. Но говорил он о пережитом без горечи — даже о своих распухших ногах, которые

часами держал в воде, надеясь сказаться больным и избежать пыпок в сухановской тюрьме. Когда в лагере ему встретились немцы, он практиковался в языке, с ними разговаривал. О тюрьме, следствии и лагере рассказывал жестко, но скорее даже весело, хотя пугавшемуся и завороженному слушателю трудно было отличить улыбку от нервной гримасы, искажавшей его *лицо.*

В рассказах слышалась проза. Их нельзя пересказать, а слова его остались незаписанными. Только их слышавшие знают, что мы потеряли писателя, книги которого о прошлом были все в будущем — для него и нас не состоявшемся.

Я начал с нашей общей любви к Пастернаку, которую мы делили со всем поколением. У нас с ним были и еще две (по меньшей мере) привязанности, нас связывавшие. Одной из них был Роман Якобсон. Костя любил в нем не просто ближайшего друга отца, которого знал с детства. Чутье к значительному позволяло ему миновать дебри специальных технических терминов и за ними разглядеть в Якобсоне то резко выпиравшее из привычного, сглаженного несоразмерно (в сравнении со степенями и званиями) крупное, что ставит его в один ряд с большими поэтами и художниками начала века, о которых метафорой мельниц сказал Пастернак:

Но они и не жалуются на каторгу.
Наливаясь в грядущем и тлея в былом,
Неизвестные зарева, как элеваторы,
Преисполняют их теплом.

Костя угадывал, в ком просвечивают неизвестные зарева. Дважды я был с ним вместе у Пастернака, когда к тому приезжал (в конце весны 56 юда и осенью 58 года) Роман Якобсон. Костя был из тех слушателей, без которых те встречи многое бы потеряли.

Большие художники больше других нуждаются в понимающей аудитории, от нее зависят. Разевать рот всякий умеет. Костя один так это делал, что стыдно было не оправдать выданный им вексель. Приходилось расплачиваться. Часть причин торжествующей на всех широтах серости я вижу в отсутствии таких слушателей, как Костя.

Но и приговоры, им выносившиеся, были желчны и безоговорочны (на них он не тратил лишних печатных слов, иногда ограничиваясь междометиями и смехом, в этом случае особенно выразительным), шла ли речь о людях или о стихах (переменившимся выражением лица он как-то раз навеки осудил вирши, у меня не получившиеся). Встретив продажного писаку (в прошлом из интеллигентов нашего круга) в переделкинском лесу,

он обрушивал на него шедевры солдатского и лагерного красноречия. Он умел сжато выражать такие чувства и на бумаге. Не это ли умение стоило ему жизни?

Другой нашей общей любовью (при всей разнице в чувствах сына и полуученика) был Костин отец. Сходство отца и сына было не только внешним. От Петра Григорьевича, на редкость одаренного не только в науке, Костя унаследовал или перенял многое — здравый смысл, особенно поражавший при внешних чудачествах, чувство смешного, скоморошье умение рассказывать, угловатость самородка. Не у всякою отец — большой ученый. Не всякому дана с детства дружба с другом отца — другим большим ученым — и близость с великим поэтом. Все это надо суметь выдержать. Да еще человеку до предела нервному. Да еще тюрьма и лагерь, фантастичность обвинений, нелепость их политическою звучания — их предъявляли человеку, жившему не политикой вовсе (ив этом сходство ею судьбы с пастернаковской).

За все любви и дружбы приходилось платить дорою. Лагерь стоил ему любви. После освобождения он пришел к Лиле Юрьевне с девушкой, которую любил еще до ареста. От нее первой я знал, что *Костя на преследствии; оно было трудным — оюворивший* eio *друг отказался взять оювор. Лиля Юрьевна спросила: «Дождалась?» Он ответил: «Не дождалась».*

Как горевал он, когда однажды ему велели уехать в Ленинград от встречи с Романом Якобсоном (он тут же вернулся и встретился с ним).

А по обвинению было видно, бездарные неучи мстили ему за отца — основателя современной фольклористики. (Мое знакомство с Петром Гриюрьевичем началось на первом курсе с тою, что *я пришел на ею доклад «Лингвистика и фольклористика» на Научном студенческом обществе, доклад отменили, он так и не состоялся.) За этим последовала травля Боттырева, наветы на Костю, не отличавшеюся спортивными данными, казались пародией на подвиги богатырей в русских былинах. Толи он хотел взорвать Кремль, то ли истребить всех, причастных к власти. И доцента филологическою факультета Василенка (читавшею тогда спецкурс о фольклорных образах у Сталина) прежде всего.*

Он знал толк и в сути работ Петра Гриюрьевича. Мои совместные с В. Н. Топоровым сочинения о славянском язычестве сперва заинтересовали Костю именно как продолжение отцовских занятий. Интерес Кости к вышедшей книге был не чета обычным стертым фразам. Любовь к ней он овеществлял, закупая ее в гиперболическом множестве экземпляров и рассылая друзьям. Встретившись с ним незадолго до случившейся с ним беды, я узнал, что так он обошелся и с нашей книгой о славянских древностях.

Когда Петра Гриюрьевича не стало, Костя позвал меня, чтоб отдашь то из отцовской библиотеки, что могло быпь мне нужно.

Любовь Кости к книгам была истинной *страстью, как все, ею обуревавшее. То,* что *он делился со мной книгами из* числа *для нею заветных, не было делом случая. Не просто давать — дарить свое самое заветное было ею умением. В мире равнодушных он был преисполнен не остывшим кипением. Не оттого ли ею несло вихрем*? *Унесло от нас.*

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

11

Когда я кончил школу, опять обнаружились симптомы болезни, заставившей меня пролежать в детстве два года совсем неподвижно и потом еще два года ходить на костылях. Меня снова уложили на несколько месяцев сразу после того, как я был принят в университет. И университетская карьера началась с отчисления за непосещение занятий. Ректорату было известно, что я болен, но это проректора Галкина не остановило. Я не был одинок. Похожей была участь талантливого критика Марка Щеглова. Я помню его, грузного, на костылях, с трудом поднимающегося по металлической лестнице филологического факультета на четвертый этаж (лифта не было). Но ему пришлось хуже. За него не могла поручиться известность отца, много значившая в нашем иерархическом (чтобы не сказать — кастовом) обществе. Его на факультете не восстановили быстро, как меня. И в ранней его смерти отчасти повинна и университетская бюрократия, бездушная, как все бюрократии мира, но еще и с оттенком многовековой татаро-монгольской и более новой, сталинской жестокости.

Было условлено, что я сдам экзамены за первый семестр экстерном. Учился я, лежа дома. «Синтаксис русского языка» Шахматова и еще кое-какие руководства, обозначенные в программе, выудил из своей библиотеки отец. Гору книг по античной литературе принес из библиотеки Клуба писателей Ираклий Андроников. Заниматься латынью помогала К. П. Полонская. С наибольшим удовольствием я писал сочинение для просеминария, которым руководил В. Д. Дувакин. В качестве темы я выбрал сопоставительный разбор двух поэм двух поэтов — Велемира Хлебникова («Ладомир») и Поля Валери («Юная парка»). Французский текст этой последней я еще в десятом классе переписал от руки, как тогда (да и много спустя — вплоть до появления ксероксов) переписывал все нужные тексты, которых не было дома (весь Мандельштам и чугь ли не вся

Цветаева в моих рукописных копиях где-то до сих пор лежат на полке, Ахматова говорила, что мы живем под лозунгом «Долой Гутенберга!»). Как я теперь вижу, мысль сравнить Хлебникова и Валери мне подсказал Б. Л. Пастернак в том разговоре о Заболоцком, где он сопоставил с ним двух этих поэтов-«док» и Гельдерлина. Дувакнну, влюбленному в Маяковского, которым он всю жизнь занимался, не нравилось, что я Хлебникова рассматриваю прежде всего как продолжателя классической традиции, ему это казалось преувеличением. Но он обстоятельно и дружелюбно обсудил со мной работу. И весь следующий семестр, когда я уже мог ходить на лекции и заниматься в библиотеке, я в основном был занят писанием и переделкой длинного сочинения для этого же семинария Дувакина. На этот раз темой были оды Ломоносова (которым я занимался и потом) и Державина (к нему я вернулся уже к его юбилею, сделав на державинской конференции в Норвиче в 1994 году доклад о современности его поэтики). На примере од XVIII века в том юношеском сочинении я пробовал овладеть техникой стиховедческого (в том числе и статистического — в духе Андрея Белого, «Символизм» которого я тогда читал) исследования. Я вернулся всерьез к этим занятиям уже в 1960-е годы, когда работал вместе с А. Н. Колмогоровым. А в ту раннюю пору привлекали историко-литературный анализ, в нем я ориентировался (не без влияния отца) на формалистов, прежде всего на Тынянова. Работой заинтересовался В. Б. Шкловский, он дал мне читать несколько новых книг, среди них присланную ему автором монографию Г. А. Гуковского о Пушкине и русских романтиках. Дувакин вдохновлял свободной обстановкой своего семинара, истовой любовью к русской поэзии и хорошим знанием авангарда, в том числе и формалистов. Об их работах и о сочинениях к ним примыкавших (как ранний Виноградов) ученых Дувакин говорил с уважением, что по тем временам было смело. На старших курсах полагалось слушать лекции Дувакина по советской литературе. То ли времена посуровели, то ли он тогда забоялся, но эти лекции (я был только на одной из них) не очень отличались от говорильни, уже ставшей общеобязательной. Мне посчастливилось, что на первом курсе я еще застал Дувакина и других преподавателей в относительно вольную пору первых послевоенных лет, когда они, вопреки всему, учили нас не за страх, а за совесть.

Я сохранил память о поэтическом семинаре Дувакина и постарался высказать ему свою благодарность много лет спустя. На процессе Синявского и Даниэля Дувакин, хорошо знавший Синявского по университету, дал показания в его пользу,

выступив свидетелем защиты. Филологический факультет ответил на это немедленным решением уволить Дувакина. Мне удалось собрать много подписей видных ученых и писателей под письмами и телеграммами, протестующими против этого решения. На тогдашнего ректора Московского университета И. Г. Петровского повлияли и подписи некоторых ученых (среди них антрополога Дебеца — ему он позвонил), которых он хорошо знал, и устное обращение к нему одного из самых одаренных математиков Союза И. М. Гельфанда, собравшегося к нему пойти п$ этому поводу вместе с двумя другими его коллегами по Академии наук — математиком А А. Марковым и физиком М. А. Леонтовичем. Заступавшимся за Дувакина Петровский ответил, что не может отменить решения филологического факультета, но использует свое право зачислить Дувакина на кафедру информации, подчинявшуюся прямо ректору. На этой кафедре В.Д. Дувакин много лет потом занимался собиранием и магнитофонной записью устных воспоминаний интеллигентов начала века об их времени. Он приезжал с этой целью и к моей маме, Тамаре Владимировне Ивановой, позднее выпустившей свои мемуары «Мои современники, какими я их знала». С мамой Дувакин познакомился еще во время моей болезни на первом курсе, когда через нее давал мне задания для своего просеминария. Когда Роман Якобсон был в очередной раз в Москве, он с удовольствием откликнулся на приглашение Дувакина и приехал к нему домой вместе со мной. Рассказ Якобсона о раннем Маяковском был очень увлекателен и содержал много нового даже для Дувакина. Якобсон хорошо знал ту одаренную женщину, которая покончила с собой, когда Маяковский от нее ушел к Лиле Брик (в конце концов кончили жизнь самоубийством все три участника этой истории, но в самое разное время: самоубийство Лили Юрьевны произошло в Переделкине, в той части нашей дачи, где она жила в последние годы жизни). По словам Якобсона, Маяковского и потом очень волновала гибель этой женщины, он мрачнел при упоминании о ней.

Мы знали и со слов Лили Юрьевны, что Брики поначалу не приняли Маяковского и его стихи. Якобсон тогда у Дувакина рассказал нам, что он был на том чтении стихов Маяковского, когда и Лиля Юрьевна и Осип Брик были среди его освистывавших. Мы слушали затаив дыхание. Как обычно в таких случаях, техника отказала. Через час или два после начала рассказа Якобсона оказалось, что магнитофон ничего не записал. Но далеко не все сеансы воспоминаний были столь неудачны. От Дувакина в университете остался большой архив звуковых

записей, к которому с благодарностью будут обращаться историки нашей культуры. Дувакин говорил мне потом, что не считает, будто его жизнь после ухода с филологического факультета переменилась к худшему. Наоборот, собирая материалы по культуре начала века, он добился полной независимости и свободы.

В Дувакине, в его разбросанной манере говорить, рассеянности, влюбленности в русскую поэзию было что-то в высокой степени подлинное. Это же сказалось и в его поведении на суде. Он был далек от политики и не хотел быть героем. Он не был патологически храбр, скорее, как все интеллигенты, побаивался государства и его тайной полиции. Но он просто не говорил неправды, не хотел хулить заключенного ученика, оставался порядочным человеком, интеллигентом в старинном и высоком смысле.

Когда я уже в конце второго семестра первого курса переработал и перепечатал свое разросшееся сочинение об одах для дувакинского семинара, я показал его Николаю Семеновичу Поспелову, который вел у нас занятия по современному русскому языку. Ему эта работа понравилась, он дал ее прочесть В. В. Виноградову, тот, по словам Поспелова, возил ее в поездке в Ленинград, куда ездил читать лекции. Так состоялось мое первое, тогда заочное знакомство с этим примечательным человеком, с которым мне предстояло проработать несколько лет вместе в журнале «Вопросы языкознания». Как и некоторые другие люди из близкого окружения Виноградова, Н. С. Поспелов воплощал для меня русскую старину во всем своем облике, словно вышедшем из прошлого века. Мне же нравилось то, что в своем спецкурсе о синтаксисе «Медного всадника» он развивал идеи Тынянова о тесноте стихотворного ряда.

Меня все больше занимали связи поэтики и языкознания. Лето между первым и вторым курсами я провел в чтении книг по лингвистике. Пешковский, Потебня, Вандриес, Соссюр и особенно Сэпир манили всерьез заняться этой наукой и теорией знаков вообще. Впервые замаячили контуры будущей семиотики. В начале второго курса я увидел на стене на филологическом факультете прикрепленную кнопкой записку, написанную аккуратным почерком Михаила Николаевича Петерсона. В ней он сообщал, что занятия санскритом начнутся такого-то числа в таком-то месте, куда приглашаются все желающие. Изучение санскрита составляло часть осуществлявшейся Петерсоном в одиночку и с большим политическим риском программы преподавания сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков. Она отвергалась в то время официальным языкознанием, придерживавшимся марровского «нового учения о языке». Поэтому и занятия санскритом носили характер, промежуточный между масонской ложей и кружком заговорщиков. Я уговорил пойти на эти занятия В. Н. Топорова, с которым мы тесно подружились еще на первом курсе (было много знаков, по которым мы угадали общность предстоящей судьбы). Через десять лет нам предстояло с Топоровым написать вместе книжку «Санскрит». В нашу санскритскую группу вошли и другие общие друзья с разных отделений того же курса: П. А. Гринцер и Т. Я. Елизаренкова, позднее ставшие профессионалами-индологами, Т. В. Булыгина. Петерсон читал с нами «Махабхарату» и другие санскритские тексты. Он же потом преподавал нам литовский язык и сравнительную грамматику всех индоевропейских языков (остальные языки этой семьи каждый из нас учил или на других отделениях, или по книгам).

Петерсона нисколько не останавливали все увеличивавшиеся гонения властей на всю эту область знаний.

Хорошо помню утро, когда рано встав, я вынул из почтового ящика номер газеты «Культура и жизнь» (в интеллигентском просторечии прозванной «Ни культуры, ни жизни»), издававшейся ЦК партии. В нем я прочитал статью, где Петерсона обвиняли чуть ли не в фашизме. И на том лишь основании, что в своей работе о заслугах Фортунатова, создателя Московской лингвистической школы, Петерсон — верный до догматизма его последователь — упомянул одно из его открытий в предыстории звуков санскрита, признанное немецким лингвистом Хиртом в его многотомной сравнительной грамматике индоевропейских языков! В то время ссылаться на иностранных ученых вообще было опасно. А раз ученый немецкий, значит, можно и в фашизме обвинить. Когда я прочитал газетную ругань, я подумал .с беспокойством: каково теперь Педерсону? Но наш санскритский урок в то утро состоялся, как всегда, вовремя. Петерсон с его поразительно прямой выправкой, маленький, собранный, вошел в аудиторию своим четким шагом и немедленно приступил к чтению текста санскритской поэмы. Ни на его лице, иногда насмешливом, но никогда не угрюмом, ни в его голосе ничто не выражало волнения. Сколько подлинного героизма от него требовалось, чтобы продолжать учить студентов сравнительной грамматике несмотря на запреты!

После смерти Петерсона я узнал и о едва ли не большей его заслуге перед русской культурой. На протяжении всего советского времени Петерсон хранил у себя дома доставшийся ему от отца — душеприказчика философа Н. Федорова — архив, содержавший материалы предполагавшегося третьего тома федоровской «Философии общего дела». После смерти М. Н. Петерсона его вдова передала архив в Ленинскую библиотеку — бывший Румянцевский музей, хранителем книг — библиотекарем и смотрителем — в которой был Федоров. Он получал небольшое жалованье,, которое в малой степени тратил на себя, он жил среди книг, как отшельник в скиту. Часть своих денег он отдавал таким своим воспитанникам, как Циолковский — глухой мальчик, которого не могла обучить тогдашняя школа, а Федоров согласился учить с помощью книг. Не только потому, что Федоров первым увидел смертельную опасность для человечества в развитии научной технологии, и не только из-за его биографических связей с Циолковским он по праву занимает теперь видное место в истории идей нашего времени. В ту пору, когда наш Сектор в Институге славяноведения занимался погребальным обрядом как темой, объединяющей лингвистику,

археологию, этнографию, мы проводили конференцию по этой теме. Мне не хотелось, чтобы она оканчивалась на печальной погребальной ноте. Я пригласил С. Семенову рассказать о федоровской идее физического воскрешения мертвых как сверхзадаче, которая должна быть дана науке (в частности, для того, чтобы отвлечь ее от занятий, грозящих человечеству гибелью). Я позвал на это заседание нашего друга, выдающегося генетика Кирилла Гринберга (он умер совсем молодым вскоре после эпизода, о котором я рассказываю). Кирилл был изумлен мыслями Федорова, взял у меня его книги и, возвращая их, сказал, что федоровские общие идеи и его проект музея очень близко подходят к новейшим представлениям генетиков, занятых геномом человека. Теперь все уже знают о теоретической возможности воссоздания ДНК умершего по сохранившимся его клеткам (как ДНК индейцев пуэбло по их мумиям изучают для понимания прошлого первоначального населения Америки). От морального состояния будущего общества и ученых зависит, согласятся ли они на программу, подобную федоровской. Но возможности эти уже сейчас начинают становиться куда более реальными, чем в то время, когда Маяковский, видимо, узнавший о Федорове от своего соученика художника Чекрыгина (автора замечательной графической серии, воспроизводящей будущее воскрешение мертвых), писал свое прошение о воскрешении в «Про это».

Я могу только гадать о том, повлияло ли раннее знакомство с идеей научного воскрешения мертвых на выбор Петерсоном сравнительного языкознания как основной области занятий: ведь главная цель этой науки — восстановление древнего языка, на котором говорили предки носителей современных языков. Могу только сказать, что самого Федорова очень интересовала сравнительная грамматика индоевропейских языков, а сравнение ее методов с молекулярной биологией, которая, по Кириллу Гринбергу, напоминает идеи Федорова, становится все более распространенным.

Для меня несомненно другое: частью своих душевных качеств М. Н. Петерсон был обязан воспитанию, которое ему дал его отец — верный последователь Федорова. Но и от природы он был человеком очень добрым. Трое из нас — Булыгина, Елизаренкова ия — благодаря его настояниям сразу по окончании университета были приняты в аспирантуру. Он стал нашим научным руководителем. Этому способствовала внезапная перемена ситуации в языкознании. Марровская школа была разгромлена и сравнительно-историческая грамматика возрождалась как направление в науке. Перед этим меня и Булыгину уже успели

проработать на комсомольских собраниях за то, что мы не следуем Марру в наших курсовых лингвистических работах (мне еще один из членов комсомольского бюро, потом довольно успешно занимавшийся лингвистикой, грозил выговором за непосещение лекций по историческому материализму). Меня перед окончанием университета не хотели оставлять для научных занятий, распределили для работы на радио. Петерсон добился моего перераспределения.

Но самому Петерсону судьба улыбнулась ненадолго. Он был слишком несговорчивым и непокладистым. Через два года после языковедческой дискуссии, где участвовал Сталин, изданный Петерсоном литографический курс лекций по введению в языкознание был осужден за недостаточность ссылок на Сталина. Петерсон со все большим трудом переносил удары, но не сдавался. Сдало здоровье. У него был инсульт, он стал неработоспособным. Прекратились наши регулярные встречи. До того он не пропускал ни одной недели без разговоров со своими аспирантами, следил за нашим научным чтением, занятиями древними текстами и «спецвопросами» — так назывались небольшие сочинения на разные согласованные с ним темы, которые мы должны были написать до диссертации. Моя диссертационная работа, посвященная индоевропейским корням в клинописном хеттском языке, соприкасалась с проблемой, которую Петерсон изучал в свои университетские годы, когда он и князь Н. С. Трубецкой (после эмиграции ставший одним из основателей современного структурного языкознания) были двумя единственными студентами, учившимися на только что созданном отделении сравнительно-исторического языкознания. Петерсон рассказывало склонности Трубецкого к широким обобщениям и вместе с тем о его плохом зрении, сопоставляя две эти особенности и выводя одну из другой. Наши первые спецвопросы касались фонологии, в ее современном виде созданной Трубецким и Якобсоном. Елизаренкова разбирала немецкий том «Основ фонологии» Трубецкого, я его тоже законспектировал, первые главы переписав почти дословно. Мой спецвопрос касался предшественника фонологии — русского и польского ученого (потомка французских королей) Бодуэна де Куртене и его ученика Е. Д. Поливанова — великого лингвиста, расстрелянного в конце 1938 года. Казалось бы, обе эти темы были запретными, ведь Сталин еще не умер, о Трубецком одна ученая дама в «Известиях Академии наук» писала, что он — белоэмигрант, имя Поливанова вообще не полагалось произносить. Петерсон, одобривший эти темы, и здесь обнаружил незаурядную смелость. Мне он много рассказывал о Поливанове,

с которым в конце 20-х годов работал вместе. Он сообщал и удивительные подробности, касавшиеся его сумасбродства. Поливанов был наркоманом, «мог прийти на работу с грязной щекой». Петерсон не скрывал своей брезгливости, говоря об этом.

Я увлеченно занимался и учеными трудами Поливанова — автора научных описаний нескольких десятков языков, и его фантастической биографией. Он был аристократом, родственником друга моей юности, недавно умершего физика М. К. Поливанова (он подарил мне несколько оттисков лингвиста из бумаг своего деда), но рано вступил в коммунистическую партию (откуда его исключили за наркоманию), был редактором китайской коммунистической газеты. Мне рассказывали о нем люди, близко его знавшие: мой отец (в эссе об отце и науке я уже рассказывал, как Поливанов пытался испугать моего отца тигрятами, жившими у него как кошки), Шкловский, Каверин, описавший его в «Скандалисте» под именем Драгоманова; позднее мачеха Ларисы Богораз Олсуфьева, когда-то дружившая с женой Поливанова Б. А. Нирк, рассказала мне о его удивительных способностях: он угадывал мысли и общение с ним не напоминало обычное. Я начал писать о Поливанове поэму, где были строки:

Он опиумом опьянен
И пряным запахом наречий.
Наречье опиума он
Мешает с речью человечьей,

Безрукий, нищий наркоман.
Уволенный из наркомата,
Его романтика — туман
Дурманящего аромата.

К тому времени, когда в начале оттепели оказалось возможным о нем написать как об ученом, я, не дожидаясь официальной его реабилитации, напечатал в 1957 году большую статью о нем как о предшественнике многих новых веяний в языкознании. Позднее я участвовал в издании и комментировании его сочинений, до сих пор не собранных полностью, а может быть, отчасти и утраченных бесследно; во Фрунзе, где он жил перед арестом (и где его видел Липкин, а для работы с Тарковским над переводом его приводили из тюремной камеры), мне удалось многое из его рукописей прочесть в архиве Академии наук.

Поливанова, Трубецкого (многое из трудов Поливанова

использовавшего, но относившегося к нему все более критически), Петерсона объединяла принадлежность к поколению, пытавшемуся пересоздать описательную лингвистику как точную науку. Петерсон работал над применением статистики в языковедческих исследованиях. Он рассказывал нам о своих беседах с математиком Н. Н. Лузиным о точках пересечения языкознания и математики, в частности, о теории функций. Петерсон был одним из председателей Московского лингвистического кружка, продолженного в более широко известном Пражском лингвистическом кружке, созданном при участии Романа Якобсона (тоже одного из председателей Московского кружка) после переезда его (и всей этой новой науки) в Прагу. Петерсон в этих своих новаторских опытах, повлиявших на такого виднейшего западноевроцейского структуралиста, как датский лингвист Луи Ельмслев (в первой своей книге он говорит о Петерсоне с уважением как о своем предшественнике), опирался на некоторые принципы, выработанные на основе точных методов исторической лингвистики Московской языковедческой школой и ее создателем Фортунатовым. Позднее эти принципы были развиты в так называемом структурном языкознании. С ним были связаны такие мои ранние опыты, как книжка о хеттском языке. Я увлекся этим языком еще в студенческие годы и потом изучил его самостоятельно. Петерсона несколько смущало то, что он называл грандиозностью моих замыслов, он пробовал меня несколько обуздать, разводя руками и со смущенной улыбкой добавляя к своим предостережениям: «Конечно, силы-то богатырские...». К сожалению, дописывать и защищать диссертацию о хеттском языке мне пришлось уже во время его болезни.

До того Петерсону, как потом мне, хотелось наладить на филологическом факультете лабораторию экспериментальной фонетики (для одного их моих спецвопросов, касавшихся латышской фонетики, я ходил в хорошо налаженную лабораторию Педагогического Института иностранных языков). Он просил меня выяснить, как обстоит дело с его докладной запиской в деканат по этому поводу. Я справился об этом у одной из технических сотрудниц деканата. Та в ответ дала мне папку, где по русской расхлябанности вместе были подшиты предложения Петерсона и проект партбюро о чистке факультета. Я обомлел: оказывается, добрая половина беспартийных преподавателей, из числа самых дельных, должна быть уволена как подозрительные политически. По счастью, Сталин скоро умер и времена начали меняться. А то многим, о ком я вспоминаю, несдобровать бы.

Я был подготовлен к последующим занятиям структурными и математическими методами (с которыми потом продолжала бороться официальная наука) благодаря своему общению с Петерсоном: недаром в первые мои университетские годы тот в докладе на Научном Студенческом обществе развивал мысли, созвучные современным поискам. Среди других моих учителей, блйзких к тому же направлению, назову Петра Саввича Кузнецова и Александра Ивановича Смирницкого. Оба они, как и Петерсон, соединяли хорошую подготовку в области сравнительно-исторического языкознания, которым они и потом продолжали заниматься (с нашей тогдашней точки зрения — иногда чересчур традиционно), с поиском новых подходов в фонологии и грамматике. Кузнецов был когда-то аспирантом того институга, где работали вместе Петерсон и Поливанов. Мне он рассказывал об удивлении, которое испытал, придя сдавать экзамен по древним италийским языкам. Он спросил у заведовавшего отделением Поливанова, которого он знал как японисга и синолога, кому ему сдавать экзамен. Поливанов вызвался сам сразу принять экзамен. Обнаружилось, что некоторые древнелатинские тексты он знал наизусть. Кузнецов был тоже лингвистом-полигло- том. Какие только языки он не учил и не описывал! И суахили, и коми. Перед его защитой я читал в рукописи его докторскую диссертацию. Она была посвящена славянскому глаголу, но содержала интересные сравнения с африканскими языковыми структурами. Я слушал спецкурс Кузнецова по общей филологии. В нем он излагал идеи Московской фонологической школы — группы тогда совсем молодых лингвистов, в 30-е годыработавших параллельно с Пражским лингвистическим кружком, но, в отличие от не го, не имевших возможности печататься. То, что мы присутствовали при передаче устной традиции, придавало особый вес словам лектора. Мы узнавали, например, что пражской «архифонеме» в смысле Трубецкого (например, тому *т,* которое мы слышим в конце слова *труд)* соответствует «гиперфонема» в понимании Владимира Николаевича Сидорова. Это был один из наиболее ярких умов всей группы, герой многих рассказов, ставших научным фольклором. Его талантам очень мало дали проявиться. Совсем молодым он был арестован по тому же делу славистов, что и В. В. Виноградов и большинство старых ветеранов славяноведения (их обвиняли в связях с Трубецким и Якобсоном, некоторые материалы следствия недавно преданы гласности). После возвращения из ссылки Сидоров болел (он сильно хромал, ходил с палкой), мало печатался. В то время, когда я с ним встречался, Сидоров все дальше отходил от лингвистики. Мне казалось, что

внутренне он был сломлен.

Научный темперамент Кузнецова, напротив, не погасал. Когда в начале хрущевской оттепели разгорелись споры вокруг отношения к структурализму в лингвистике, Кузнецов во время дискуссии выступил устно (а потом и в печати) с очень решительной его поддержкой.

Кузнецов был молочным (а по слухам и единокровным) братом великого русского математика А. Н. Колмогорова (в лицах их, очень некрасивых, но и очень отличных от стандарта, можно было увидеть сходство). Братья нередко встречались и обсуждали общие методологические вопросы двух гуманитарных наук (Колмогоров всегда говорил о математике как о науке гуманитарной, в чем при желании можно усматривать дань давней традиции). Рассказывая в один из последних наших разговоров о своей новой работе о славянских глагольных чередованиях, Кузнецов с радостью говорил, что гласный можно вычислить, если знаешь характер формы и корень. Это и было тем новым, что внесли в лингвистику Бодуэн де Куртене, Крушевский (его ученик, как и Бодуэн, русско-польский ученый из Казани) и Соссюр и развили структуралисты. Историческое языкознание превращалось в решение особого рода уравнений.

Когда ученик Колмогорова — мой друг математик Владимир Андреевич Успенский в 19 5 6 году задумал вместе со мной устроить на филологическом факультете семинар по применению математических методов в языкознании, в качестве третьего соруко- водителя семинара мы пригласили П. С. Кузнецова. Семинар работал вплоть до моего изгнания из университета в конце 1958 года. Вокруг него объединились многие лингвисты и математики, пытавшиеся по-новому подойти к языку. Нас привлекала точность формулировок в науке, которая по суги и была уже самой проверяемой из всех гуманитарных. Иначе говоря, в лингвистике можно теоретическое построение соотнести с эмпирическими данными и опровергнуть или подтвердить. Другие гуманитарные науки до сих пор в очень малой степени умеют это делать. Меня уже тогда занимала и эстетическая сторона, равно важная и в математике, и в лингвистике. Для обеих наук красота построения служит чуть ли не главным критерием. Я до сих пор продолжаю думать на темы, вставшие передо мной в те годы. На Международном семиотическом съезде в Беркли в июне 1994 года мой пленарный доклад был посвящен одной из них: тому, как опыт сравнительно-исторического языкознания может быть использован в других науках, все еще не добившихся такой же строгости метода.

Теми же вопросами занимался и еще один из моих

университетских учителей, Александр Иванович Смирницкий. Он заметил меня на одном из занятий по английскому языку, где он был в роли инспектора. Я слушал и тщательно записывал много его курсов — по истории и синхронной грамматике английского языка, по скандинавским руническим надписям. Как он мне потом признавался, это было главное и любимое его увлечение. Но этот курс был прерван его болезнью. Это же помешало ему довести до конца начатую было со мной работу по теме моего курсового и дипломного сочинений. В них шла речь о возможных в английском языке сложных прилагательных, состоящих из целой конструкции и в переводе передаваемых предложением: A don't — toulch — me — or — I*kill — you sort of countenance. «Такое выражение лица, которое как бы говорит: не трогай меня, а то убью!» и т. п. Из всех мной названных ученых он был мне всего ближе своим тяготением к эстетически совершенным построениям в науке. Он переводил исландские саги и шведского поэта Тегнера, который и мне пришелся по вкусу. В его увлечениях мне виделся наиболее близкий подход к тому синтезу поэзии и лингвистики, о котором и я мечтал.

В тот год, когда я слушал лекции Смирницкого по истории английского языка, меня зимой вызвали в партбюро филфака. Со мной разговаривали члены комиссии, проверявшей факультет. Среди них был Н. Ф. Яковлев, в прошлом очень талантливый лингвист, один из предтеч фонологии и вдохновитель Московской фонологической мхолы. Я зачитывался его грамматиками северокавказских языков. Но к тому времени он примкнул к марристам и участвовал в травле их научных противников. Этот грузный рослый мужчина, глыбой усевшийся в партбюро, стал меня допрашивать: «А что этот Смирницкый (он произносил окончание фамилии на деланно старомосковский лад, не смягчая кии, уподобляя последний гласный ы) говорит вам о прагерманском языке?» И, не дожидаясь моего ответа, пояснил, почему нельзя этого делать: прагерманский язык по злокозненным выдумкам компаративистов продолжается в древнеанглийском языке, как наследственное вещество продолжается в поколениях, согласно вейсманистам-морганистам (а их, то есть всю современную генетику, только что перед тем отменил Лысенко на устрашающей сессии ВАСХНИЛ). Я что-то пробормотал, что Смирницкий говорит нам только о самом древнеанглийском (на самом же деле он, конечно, часто пользовался реконструкциями прагерманских форм, без этого раннюю предысторию английского языка не опишешь). Яковлев за свою циническую измену науке тяжело поплатился: его после лингвистической дискуссии уволили из Института языкознания

(Виноградов потом говорил мне, что сделал это по настоянию и под нажимом Чикобава, о чем сожалел). Яковлев попал в сумасшедший дом, там и умер, рассудок к нему не вернулся.

12

В недавно вышедших многочисленных статьях и книгах, касающихся истории нашей «тартуско-московской» школы семиотики, есть немало рассуждений о том, кто из нас начинал как литературовед, а кто как лингвист. Про себя могу сказать, что я стал заниматься филологией из-за своих интересов к поэзии, и на первом курсе у меня безусловно в центре интересов было литературоведение. Постепенно меня все больше занимала и лингвистика. Но окончательно на ней сосредоточиться (хотя бы, как оказалось потом, на несколько лет) я решил потому, что путь к серьезным занятиям в литературоведении оказался закрытым. В этом я не был одинок: похожим было и изменение научных интересов моего ближайшего университетского друга В. Н. Топорова, который так успешно занимался русской литературой у моего давнего знакомца И. Н. Розанова, что тот верно предсказал в разговоре со мной летом 1948 года: «Топорову быть академиком».

Одним из первых доказательств грустного вывода о невозможности заниматься тем, что казалось всего интересней, была внезапная отмена доклада П. Г. Богатырева. Богатырева начали преследовать. Я очень его ценил. Тогда он был единственным членом Пражского Лингвистического кружка, которого мы могли видеть. Мы с Топоровым пришли на одну из самых скучных защит докторских диссертаций, только чтобы послушать оппонентскйй отзыв Богатырева. Так и великих ленинградских литературоведов — Гуковского до его ареста и гибели и Эйхенбаума — мне довелось послушать благодаря их выступлениям на защите на московском филфаке.

Богатырев был маленького роста, очень близорукий, с неуклюжими, иногда смехотворными чудаковатыми жестами, большим чувством юмора и несколько странным смехом. Он был похож не на фольклориста, а на сказочного фольклорного персонажа. С самим Богатыревым враги не смогли сладить. Но они ему нанесли тяжелый удар. Арестовали его сына Костю, о котором я уже говорил.

Его отца — Петра Григорьевича мы неизменно видели на всех наших структура- листических и семиотических сборищах и дискуссиях. Он всегда нам помогал, ни в ком из старшего поколения не было столько доброжелательства и тепла. Помню замечательный его доклад на фольклорной комиссии Дома

литераторов, где он рассказывал о спектакле, виденном им когда-то в ру£ской деревне. Представление шло на дереве, которое, как сцена в раннем театре, воплощало весь мир. Он сам был артистом, слушать его было как присутствовать самим на каком-то веселом и немудреном спектакле. Дома у Лили Юрьевны Брик, а потом и на одной из семиотических летних школ в Кяэрику (под Тарту) я слушал живые и забавные рассказы Петра Григорьевича и Романа Якобсона об их первых фольклористических поездках в Верейский уезд и о Московском и Пражском кружках. Богатыреву в рассказах обычно отводилось амплуа комика или даже клоуна. Он блестяще играл эту роль.

Но все эти веселые воспоминания, доклады и юбилеи Богатырева, где я неизменно участвовал, поздравляя его от разных семиотических учреждений, еще предстояли впереди. Все это оказалось возможным после перемен середины 195 0-х годов. А за десять лет до того казалось, что все это направление деятельности — не только литературоведение, но и фольклористика — обрываются. Для меня это ощущение тогда связалось с личностью литературоведа Р. М. Самарина.

Я познакомился с ним в книгохранилище Библиотеки Института мировой литературы, откуда я имел возможность брать книги по отцовскому абонементу. Благодаря этой библиотеке я смог перечитать или хотя бы просмотреть и подержать в руках множество изданий на разных языках, только что вышедших и старинных. Но однажды нужной мне книги не оказалось, библиотекарша позвала на помощь Самарина, который только что переселился с семьей в Москву и за неимением квартиры занял часть помещения библиотеки. В этом и последующем разговорах Самарин сочувственно отнесся к моему увлечению Джоном Донном и другими поэтами-мета- физиками XVII в. (сам он писал тогда докторскую диссертацию о Мильтоне). Он был образован, знал языки, похвалялся близостью с известным литературоведом старой школы Белецким. Я потом занимался у него в семинаре по английскому романтизму, написал большое сочинение по эстетике Китса. Он помог мне получить заказ на перевод стихов Байрона и составление примечаний ко многим его вещам в русском однотомнике. Но, послушав его разговоры, я понял: Самарин был черносотенцем. Он любил порассуждать в духе будущих ультрапатриотов о «Дневнике писателя» Достоевского, Геок-Тепе и «хинтерланде» (Средней Азии), оказавшемся нужным России в войне с Германией.

Главным, что на всю жизнь оттолкнуло от Самарина, да и от многих других литературоведов филфака, тогда его поддержавших, стал его доклад на общем заседании Кафедры

зарубежной литературы и романо-германского отделения зимой 1948 года. Это было время после убийства Михоэлса (я его знал по ташкентской эвакуации) и ареста членов еврейского антифашистского комитета (с некоторыми из них, как с П. Маркишем, мои родители дружили, другие, ценимые моим отцом, как Бергельсон, бывали у нас дома). В газетах началась кампания против космополитов, как называли писателей или критиков с еврейскими фамилиями (если фамилия могла показаться русской, ее сопровождали в погромной статье еврейской «настоящей» в скобках). Самарин почувствовал себя в своей стихии. Его доклад был нацистским. Мне, зачитывавшемуся в предыдущее лето «Книгой песен» и помнившему статьи военного времени о фашистских нападках на Гейне, особенно дико было слышать их повторение от Самарина. Едва ли не главной мишенью Самарин выбрал Металлова, как раз перед этим начавшего читать у нас лекции по западной литературе XIX в. (лекции были очень плохие, как подавляющее большинство лекций по литературе: Самарин, сменивший Металлова, откровенно халтурил и к лекциям не готовился). Я старался на лекции Металлова не ходить. Их прервали перед этим заседанием, его судьба была предрешена. По поводу Металлова Самарин сказал, что его буржуазный (на газетном языке тех месяцев это значило: еврейский) национализм сказался уже в выборе темы диссертации — поэзия Гейне. Обсуждение носило совсем не теоретический, а в определенном полицейском смысле прикладной характер. За обвинениями очень одаренного литературоведа Л. Е. Пинского на этом заседании вскоре последовал его арест. Один из младших преподавателей кафедры Л. Г. Андреев, бывший фронтовик, инвалид войны, за несколько месяцев до того убеждавший меня ходить на лекции Пинского и называвший его самым талантливым на всей кафедре, выступил с большой разносной речью, целиком направленной против Пинского. Я не верил своим ушам. Заседание было отвратительным, тошнотворным. Я записался в прения, чтобы по одному частному поводу защитить Пинского (я с ним тогда не был еще знаком, мы сошлись позднее, главным образом благодаря нашим близким отношениям с М. М. Бахтиным, встречались и на демонстрации в защиту Синявского и Даниэля в 1965 году). Мне не дали слова, после конца заседания у меня было насчет этого короткое объяснение с Самариным.

Но наши отношения с ним оборвались окончательно не тогда, а только десять лет спустя. К тому времени он стал деканом филфака. Меня вызвали с занятий в его кабинет, где меня стала допрашивать о моих отношениях с Пастернаком многолюдная

комиссия во главе с Самариным. После месяца «работы» комиссия приняла решение предложить Ученому Совету уволить меня с факультета. Текст этого решения Самарин торжественно мне вручил, позвав для этого в кабинет перед заседанием Ученого Совета. Он встал и произнес для аудитории, состоявшей из меня одного, речь о том, что это для него тяжелый день, я должен знать, что он всегда меня ценил, но я повел себя неподобающим образом. После моего увольнения из университета египтолог М. А. Коростовцев (позднее выбранный академиком) по просьбе своего учителя

В. В. Струве пытался устроить меня на службу в Институт востоковедения. Для этого необходима была характеристика с предыдущего места работы, подписанная руководителем учреждения — деканом факультета. Самарин отказался ее дать. Коростовцев по этому поводу с ним говорил. Самарин мотивировал свой отказ тем-, что я был связан с американским шпионом Романом Якобсоном (судя по только напечатанным архивным материалам, именно так Якобсона величали в КГБ вплоть до 1964 г.). Коростовцев, незадолго до того побывавший в той же сухановской пыточной тюрьме, где мучили и Костю Богатырева, на себе испытал, что значат обвинения в шпионаже: его после возвращения из командировки в Египет обвинили в том, что он — английский шпион. Об этом разговоре с Самариным он мне рассказывал с ненавистью: «Какая сволочь...»

13

Но вернусь к аспирантским временам. Самым увлекательным в них было то, что происходило уже вне стен университета: чтение древнеиранского текста «Авесты» с В. И. Абаевым. Я набрался храбрости и зашел к нему в Институт языкознания. Он сидел в узкой щели (иначе не назовешь), выгороженной для его рабочего стола и шкафа для книг по иранистике. Он пригласил меня на занятия, в которых участвовало несколько его аспирантов. Нам удавалось втиснуться в ту же щель. Слушать его было чудесно. «Авесту», текст, достаточно темный, он пояснял сравнениями с осетинскими обычаями, которые наблюдал в детстве. В те годы его травили как бывшего марриста. Он в самом деле в юности был аспирантом Марра и усвоил от того идею скрещенного характера осетинского языка, одновременно иранского-скифского и носящего отпечаток той среды, в которой скифы оказались на Кавказе. Он лучше знал сравнительную грамматику иранских языков, чем те, кто его винил в марризме. Во взглядах на общую лингвистику мы с ним расходились, не раз спорили , но это не мешало самым добрым отношениям. Много

позднее, уже во время реформ, я узнал от Абаева, что он единственный уцелел из подпольного антисоветского кружка, существовавшего в 20-е годы. Мы никогда не касались в разговорах политики прямо, но иногда я понимал сходство наших установок, например, когда Абаев (бывший и талантливым фольклористом) высказывал сожаление об отказе такого ученого, как Пропп, от прежних его методов.

Абаев дружески встретил меня в Сухуми осенью 1963 года, когда я случайно оказался там во время конференции по нартовскому эпосу. Приняв его приглашение, я остался на этой конференции, познакомился с хором столетних абхазов, спустившихся с гор, чтобы поучаствовать в обсуждении дел, им казавшихся серьезными: «Как там у вас дела с нартами?» — спросил один из них участника конференции так, как спрашивают о последних газетных известиях. С этими неугасшими столетними старцами, для которых мифологические герои-нарты были реальнее остального мира, мы вместе смотрели на устроенные в их честь скачки в старинной столице Лыхны, где и 63-летний Абаев (он — ровесник века, как моя мама) проехал верхом перед нами несмотря на свою больную ногу. Потом был прием, где столетние пили местное вино и пели отрывки из нартовского абхазского эпоса. Собравшиеся на конференцию интеллигенты из разных республик (я там коротал время в разговорах с поэтом Липкиным, исследователем мифа и сказки Е. М. Мелетинским, его женой — выдающейся исследовательницей Мандельштама И. М. Семенко, ныне покойной) и старики-горцы ощущали себя частью единого культурного круга. Незадолго до того перенесенные беды сплачивали схожестью несчастий. Раз, собравшись в номере гостиницы, мы обнаружили, что, кроме меня, все остальные присутствовавшие побывали в тифлисской тюрьме в то страшное военное время, когда юна была переполнена, и ночью переворачивались с одного бока на другой по команде, чтобы ненароком не придавить соседа. Нельзя было представить себе того кровавого противостояния, которое через 30 лет пришло на эту землю. «Историко-этимологический словарь осетинского языка» Абаева я не раз перечитывал прежде всего как раскрытие языковых свидетельств общекавказского исторического единства.

Кончив аспирантуру, я в 1954 году остался преподавать ассистентом при Кафедре сравнительно-исторического языкознания. Кроме семинаров и курсов лекций по введению в языкознание для заочников мне поручили и тот курс сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков, который читал Петерсон до своей болезни. Я увлеченно готовился

к лекциям, дававшим мне возможность изложить новые взгляды, диктовавшиеся хеттским и другими открытыми в XX в. древними индоевропейскими языками, а также и использованием структурных методов. Позднее часть этих мыслей была развита в двухтомной книге, написанной совместно с Гамкрелидзе, и в некоторых других моих сочинениях. Хотя у меня было много записей с формами разных языков и моими комментариями, на лекциях я импровизировал. Более законченную форму содержанию лекций придавали слушатели, особенно А. А Зализняк, аккуратно записавший весь курс своим каллиграфическим почерком. Со слушателями мне повезло. Курс по сравнительной грамматике слушали Зализняк, с юности прославившийся как блестящий полиглот, потом и составитель изящных лингвистических задач, ему удалось кроме других замечательных работ составить полный грамматический словарь русского языка и прочитать по-новому новгородские берестяные грамоты; его будущая жена Е. В. Падучева, ставшая вскоре одним из зачинателей логического анализа русских текстов, мой и Зализняков близкий друг И. А. Мельчук, чрезвычайно одаренный и до сих пор недооцененный во всем мире лингвист, после конфликтов с академическим институтским начальством эмигрировавший в Канаду, несколько других исследователей, потом профессионально занимавшихся этимологией на славянском материале по преимуществу. На лекции приходил Ю. К. Лекомцев, с детства очень тяжело больной и рано умерший лингвист с чертами гениальности, одержимый (и тогда, когда он потерял ноги и почти ослеп) наукой, занимавшийся с успехом живописью, поэзией, математикой, В. В. Шеворошкин, с которым позднее вплоть до его эмиграции в США (где он стал одним из главных проводников русских новых концепций в истории языка) я обсуждал предложенную им дешифровку карийских надписей из древней Малой Азии и Египта. Как-то в начале своих преподавательских опытов я получил выговор от деканата за то, что поставил слишком много отличных отметок в одной группе первого курса (сходные упреки я слышал и в Америке: университетские, да и любые другие системы в плохом совпадают, неповторимо только хорошее). Но в этой группе мне посчастливилось встретиться сразу с несколькими студентами, ставшими вскоре заметными учеными, которые внесли вклад в лингвистику и поэтику: я с ними (в частности, с А. К. Жолковским и. Ю. К. Щегловым, сейчас живущими в эмиграции в США) полемизировал, что лучше всего дока зывает их самостоятельность. С первого курса у меня занимался и Б. А. Успенский, младший брат математика В. А. Успенского, с

которым мы вместе вели семинар, где младший брат делал один из первых своих студенческих докладов. Оба брата сыграли видную роль в истории нашей семиотики. Я получал удовольствие от встреч с М. М. Ланглебен, писавшей у меня (как и Зализняк) дипломную работу по сравнительному языкознанию; позднее мы вместе работали в области прикладного языкознания. Когда она уехала в Израиль, я следил за ее успехами в поэтике, использующей лингвистические методы.

Москва тогда стала (как и остается несмотря ни на что до сих пор) удивительным средоточием лингвистической мысли. Ученые, съехавшиеся из разных стран на Международный съезд славистов в Москве в сентябре 1958 года, были поражены скоплением молодых талантов, которые перед ними выступили на вечернем семинаре, устроенном во время съезда в Педагогическом институте иностранных языков. В один голос иностранцы мне говорили, что не видели ничего подобного ни в одной другой стране. Почему это стало возможным? Кроме общих (и справедливых) ссылок на неиссякаемую талантливость России и начало первой оттепели, высвободившей умы, особенно юные, не тронутые еще морозами, должны были действовать и какие-то особые причины. Тогда мне приходило в голову, что лингвистика была единственной областью гуманитарного знания, где уже существовали достаточно строгие методы исследования, а контроль правительственной идеологии еле ощущался, а по существу отсутствовал. Не удивительно, что многие одаренные молодые люди устремились в эту сферу занятий. Это же в известной мере остается справедливым и по отношению к следующему поколению (С. А Старостина, Е. А. Хелимского и других, людей, уже в молодости обнаруживших огромный лингвистический талант и его реализовавших). Они учились уже у моих бывших учеников — Зализняка и В. А. Дыбо (мне удалось добиться принятия в аспирантуру этого блестящего акцентолога после того, как от него пришло письмо из Горьковской области, где он работал школьным учителем). В большой степени современный расцвет исследований по отдаленным связям между языковыми семьями, где благодаря поколению Старостина русская наука бесспорно опережает другие страны (в США только самое младшее поколение и то постепенно начинает входить в эту работу), продолжает начатое безвременно погибшим В. М. Иллич-Свитычем. Этот гениальный ученый мои лекции перерос сразу же, но я внимательно следил за его работами, которые он мне давал читать в рукописи. Они удовлетворяли главному для меня критерию — эстетическому. Я принял его вариант нового объединения основных языковых семей Западной Евразии, им

названных «ностратическими». Тот же подход развит Старостиным и его соратниками. Благодаря деятельности немногих названых ученых открылись новые горизонты в исследовании самых ранних этапов истории человечества.

Я как мог пробовал помочь Старостину и его сверстникам, разъясняя значимость их достижений, но к обучению этого поколения я имел только косвенное касательство. В Московский университет для преподавания меня не допускали 30 лет после изгнания оттуда (как 30 лет не давали ездить в западные страны). Но тем не менее, я могу гордиться участием в составлении учебных планов нового отделения (структурной и прикладной лингвистики), которое кончили названные мной и другие более молодые ученые. Для меня образцом оставалось то отделение сравнительного языкознания, где учились Трубецкой и Петерсон. О его возрождении на новой основе я заговорил в первые годы своего преподавания. На большом университетском совещании преподавателей очень жесткий отпор мне дал тот самый проректор Галкин, который когда-то отчислял меня из университета. И когда меня стали выгонять — на этот раз из числа преподавателей, — припомнили и грех выступления, за которое мне досталось от проректора. «Он посмел нам говорить о каких-то своих учениках», — с негодованием восклицала на роковом заседании Ученого Совета, меня изгонявшем, супруга проректора, лекции которой были постоянным предметом студенческих насмешек. Но еще до своего увольнения я успел набросать проект нового отделения, включавший и поездки студентов на Кавказ и в другие области, где говорят на необычных языках. Именно эта часть моего проекта, принятого без больших изменений, оказалась особенно существенной: ведь благодаря этому С. Старостин и его товарищи еще студентами попали в Дагестан, что потом позволило им завершить начатую еще Трубецким работу по созданию сравнительной грамматики северокавказских языков. Я тоже много лет ездил на Кавказ, где занимался преимущественно западной ветвью этой семьи, к которой относится абхазский язык. Используя уже труды не только Трубецкого, но и Старостина, я пробовал потом показать близость к этой ветви древнейшего из известных нам языков Малой Азии — хаттского, ставшего мертвым уже 4 тысячи лет назад. В этих своих работах я уже был последователем наших лингвистов младшего поколения.

Перед тем как меня уволили из университета, я читал в неделю восемнадцать часов лекций: введение в языкознание для востоковедов (подражание одноименной книге Поливанова), сравнительно-историческую грамматику индоевропейских

языков, хет- тский язык, тохарские языки, микенский греческий (тексты, только что перед этим дешифрованные Вентрисом и Чедвиком), праславянский язык для аспирантов, прусский язык (вымерший западно-балтийский язык первоначального населения Пруссии, близкий литовскому и латышскому). На занятиях прусским языком мы читали со студентами катехизис. Дошли как раз до запрета лжесвидетельствовать, когда открылась дверь и секретарша декана грубым голосом потребовала, чтобы я немедленно явился в кабинет к Самарину. Там меня ждала расширенная комиссия, члены которой уселись по одну сторону длиннющего стола, а меня посадили в качестве обвиняемого по другую (может быть, оттого я, став председателем жюри Букеровской премии за лучший роман 1992-го года, так охотно содействовал тому, чтобы ее получил Маканин за свой «Стол, покрытый зеленым сукном, с графином посередине»). Допрос длился долго, часы, отведенные для занятий прусским давно прошли, та же грубая секретарша, не прерывая хода следствия, шмякнула передо мной на стол прусскую хрестоматию и стопку моих записей, оставленных на столе в аудитории перед уходом к Самарину. О том как и о чем меня допрашивали битых три часа двадцать (если не больше!) сотрудников факультета, может дать представление одна только подробность. Профессор Н. С. Чемоданов, в прошлом декан и член партбюро, у которого я в одном семестре слушал курс «нового учения о языке» Марра, а в следующем семестре курс «учения» (от этого слова не могли отказаться!) о языке Сталина (где все утверждения предыдущего курса менялись на обратные), спросил меня, в самом ли деле я был в гостинице в номере у Романа Якобсона на тайном совещании ученых из социалистических стран. Подразумевалось, конечно, что совещание он собирал в подрывных целях. Разведывательные данные, на которые опирался Чемоданов, не врали в одном: я был в номере у Якобсона (что противоречило тогдашним правилам осторожного поведения советского человека), потому что он просил занести ему номер журнала «Успехи математических наук» со статьей его школьного товарища Хинчина о теории информации, тогда нас всех волновавшей. Разумеется, я не стал излагать этого комиссии. Пример с Чемодановым особенно показателен, потому что он был не только чиновником (и, кажется, еще не из худших: по слухам, как декан он медлил с увольнением преподавателей по политическим или анкетным, то есть национальным причинам). Он нам преподавал (хотя и очень нудно) введение в языкознание и готский язык по своим учебникам. А после моей успешной защиты с одним из моих оппонентов А. В. Десницкой приезжал к

моим родителям на дачу. Перед моим увольнением он извиняющимся голосом говорил мне, что помнит эту поездку, там он видел и Пастернака, дружба с которым была главный обвинением против меня. Но в этой общепартийной ораве, на меня нападавшей, его неплохие индивидуальные свойства испарились.

О том, что комиссия против меня начала работать, я узнал при обстоятельствах, напоминающих пародию на заграничный детектив. Ко мне подошла на факультете преподававшая датский язык жена заведующего нашей кафедрой В. А. Звегинцева и, понизив голос, сказала, что ее муж должен меня видеть Она просила меня прийти в назначенный день и час на новую выставку картин в центре Москвы, сесть на диван в центре зала, а он ко мне подсядет. Я выполнил инструкцию, казавшуюся забавной. Звегинцев сел на тот же диван спиной ко мне и, не оборачиваясь, тихо сказал, что меня собираются уволить и для этого работает комиссия. Он не сказал только того, что я узнал из решения комиссии: он сам был ее членом и позднее подписался под ее решением, которое мне вручил Самарин. По поводу комиссии мне потом передавали разные слухи: знакомая моего друга М. Левина, вхожая в партком университета, там слышала, что фамилия моя подложная, курчавость волос (тогда я не совсем еще облысел) изобличает еврейство (не исключено, что, как в шутке Марка Твена, меня спутали с моим братом — сыном Бабеля). Говорили, будто на партбюро обращались в КГБ с просьбой меня посадить. В успешности этой просьбы не сомневался ни Звегинцев, оттого принявший столько предосторожностей, ни мой тогдашний близкий друг Борис Слуцкий, впрямую предупреждавший меня о неминуембм аресте. Но КГБ то ли мешкало, то ли просило факультет принять свои меры. К их числу будто бы относилась справка обо мне, живописующая мои преступления против власти и якобы разосланная в разные учреждения, где ее читали. Все это может быть мифологическими сочинениями, интересными для исследования устной фольклорной традиции в условиях секретности и страха (после смерти Сталина прошло всего 5 лет с половиной). Но остались и подлинные письменные тексты:

РЕШЕНИЕ
Ученого Совета филологического факультета МГУ
от 24/XII — 1958 года.

В общественные организации факультета в ноябре 1958 года поступили сигналы об антипатриотическом поведении преподавателя кафедры общего и сравнительного языкознания

Вячеслава Всеволодовича Иванова. Для проверки этих сигналов президиум Ученого Совета факультета назначил комиссию в составе проф. Самарина Р. М., Ломтева Т. П., Ефимова А. И., доцентов Звегинцева В. А., Соколова А. Г., секретаря партбюро доцента Юшина П. Ф. и председателя профбюро, доцента Бабенко И. И.

Комиссия, ознакомившись с материалами, вызвала на свое расширенное заседание Вячеслава Всеволодовича Иванова и заслушала его объяснение.

В своих объяснениях Вяч. Вс. Иванов заявил о несогласии с оценкой советской и партийной общественностью антисоветского романа Б. Пастернака «Доктор Живаго».

Кроме того, комиссия на этом заседании пыталась выяснить характер отношений Вяч. Вс. Иванова с изменником родины, невозвращенцем, ныне гражданином США Р. О. Якобсоном. На заседании комиссии Вяч. Всеволодович Иванов отрицал какие-либо личные связи и неофициальные встречи с Якобсоном. Однако впоследствии, спустя несколько дней, в беседе с секретарем партбюро П. Ф. Юшиным он вынужден был признать, что играл роль посредника в организации встречи Якобсона с Пастернаком на даче последнего. Кроме того, в той же беседе Вяч. Вс. Иванов сообщил и о другой частной встрече с Якобсоном в Москве.

Комиссия ознакомилась также с выступлением Вяч. Вс. Иванова на Международном лингвистическом конгрессе в Осло, на Международном Славянском конгрессе в Москве и с его статьей, напечатанной в № 5 журнала «Вопросы языкознания» за 1958 год. Из этих материалов видно, что Вяч. Вс. Иванов всячески поддерживает и популяризует работы Р. Якобсона как в своих выступлениях на международных съездах, так и в советской прессе.

Такой характер личных связей и апологетическое отношение к идеям, концепциям и личности врага марксизма Якобсона несовместимы с достоинством советского ученого-патриота.

Идейно-моральная неустойчивость Вяч. Вс. Иванова проявилась и ранее (в публичной защите идейных ошибок профессора С. М. Бонди, отмеченных в решении МГК КПСС в 1957 году).

Комиссия считает также необходимым подчеркнуть, что за годы пребывания Вяч. Вс. Иванова на факультете он не проявил себя активным общественником и борцом за внедрение марксизма-ленинизма в языкознание.

Таким образом, на основании длительной и подробной беседы с Вяч. Вс. Ивановым и всестороннего обсуждения

указанных выше фактов комиссия пришла к единодушному заключению, которое она выносит на рассмотрение и утверждение Ученого Совета:

1. Вячеслав Всеволодович Иванов своими антипатриотическими поступками и поведением в отношениях с Б. Пастернаком и Р. Якобсоном обнаружил отсутствие элементарной идейно-моральной устойчивости, необходимой для советского ученого и преподавателя-воспитателя советских студентов.

2. В длительной товарищеской беседе в комиссии Вяч. Вс. Иванов не проявил никакого стремления осознать допущенные им ошибки и, как обнаружилось позднее, проявил неискренность, скрыв ряд существенных фактов, касающихся его встреч с Якобсоном.

3. Освободить Вячеслава Всеволодовича Иванова по изложенным выше мотивам от должности преподавателя филологического факультета Московского университета.

Председатель Ученого Совета филологического ф-та МГУ профессор Самарин Р. М. (подпись)

Ученый секретарь (А. Д. Калинин) (подпись)

(печать филологического факультета МГУ)

Решение, почти дословно воспроизводившее зачитанное перед тем заключение комиссии, было принято открытым голосованием и единогласно. Я при этом присутствовал и видел, как секретарь совета Калинин (его «ученая» деятельность для меня остается загадкой, поэтому это прилагательное в обозначении его должности опускаю) ходит по рядам, останавливается перед каждым членом совета ровно столько, сколько было нужно, чтобы он поднял руку «за» решение. Разумеется, он при этом никого не пытал, воздействие было только психологическим, но я уверен, что некоторым членам совета под его взглядом было не по себе. Дольше всех медлил П. С. Кузнецов, но и он в конце концов поднял руку под удавьим взором секретаря. Я огорчился за него, в научных спорах он держал себя достойно. Я не затаил зла и пришел его поздравить с юбилеем, отмечавшимся в Коммунистической аудитории университета через несколько месяцев. После открытого голосования Ученый совет должен был тайным голосованием отменить результаты незадолго до того прошедшего конкурса на то место, которое я тогда занимал. При тайном голосовании был один голос против (как мне потом говорили, литературоведа Г. Н. Поспелова, я с ним позднее не раз виделся и даже отвечал на его научные вопросы о мифологическом образе Люцифера, но я

стеснялся спросить его, верен ли слух, будто в моем деле Люциферу или Мефистофелю он не подыгрывал).

Для того чтобы решение Ученого Совета факультета вошло в силу, ректор университета Петровский должен был подписать приказ об увольнении меня «как несоответствующего занимаемой должности». Петровского отговаривали это делать его коллеги-математики — профессора университета А. Н. Колмогоров, ‘читавший некоторые мои работы, и А. А. Ляпунов, знавший меня по занятиям математической лингвистикой. Петровский попросил меня прийти к нему (это было за 7 лет до того, как он уже в конце оттепели гораздо смелее себя вел в деле Дувакина). Когда я вошел в огромный ректорский кабинет в новом высотном здании университета сталинской стройки, мне показалось, что ректор с его хрупким телосложением и небольшим ростом теряется среди мраморной роскоши. Словно это почувствовав, Петровский встал из-за гигантского стола мне навстречу и уселся со мной за маленьким столиком у входа. И, как бы продолжая тему маленького человека на высокой должности, стал объяснять мне, что от одного человека ничего или очень мало зависит, какой бы пост он ни занимал. Но ему хотелось сохранить меня в университете. Он предложил мне сделку: достаточно только, чтобы я написал ему письмо, что я готов подумать о том, верно ли мое прежнее отношение к «Доктору Живаго». Я отказался.

Петровский еще помедлил несколько дней. Потом он то ли заболел гриппом, то ли дипломатически взял бюллетень. Приказ о моем увольнении подписал его заместитель. Я этого ждал со дня на день. Поэтому, идя принимать экзамен в Институт восточных языков при университете, где я читал специально для востоковедов приготовленный курс введения в языкознание, я условился со знакомой преподавательницей нашей кафедры, что она меня заменит, если приказ придет в это утро. Иначе бы мы подвели студентов, пришедших сдавать экзамен. Я роздал первым вошедшим в аудиторию написанные мной билеты, они сели готовиться, а я читал карманное украинское издание «Кобзаря» Шевченко. Открылась дверь и вошла та знакомая преподавательница. Приказ подписан, она меня заменит, я должен идти на факультет, чтобы оформить увольнение, сдать книги в библиотеку и так далее.

Два месяца я был безработным (это даже уже в пору реформ задержало оформление мне пенсии: в записях в трудовой книжке перерыв). Моим делам пытался помочь Микола Бажан, о котором я упоминал по поводу переводов. Он позвонил мне с сессии Верховного Совета, депутатом которого он был. Он сказал, что мне нужно завтра же пойти в Министерство высшего образования.

Меня там сразу же принял заместитель министра М. А. Прокофьев, с которым я был знаком по нескольким обсуждениям учебников и учебных планов по языкознанию. Он меня внимательно выслушал, прочитал мое заявление с протестом против моего увольнения и сказал, что министерство не может вмешиваться в политические дела. Он удивлен тем, что при тайном голосовании только один голос был против. Но Министерство не может отменить результаты тайного голосования. Он мне сообщит решение письменно. Через некоторое время я получил по почте от него письмо. Он подтверждал, что «по причинам, указанным при устном разговоре», Министерство не может отменить решения Ученого совета филологического факультета. Но мне рекомендуется принять предложение ректора Московского Педагогического Института иностранных языков Пивоваровой и пойти на работу в этот институт в лабораторию машинного перевода. Я там уже фактически работал с некоторыми из прежних моих студентов (Жолковским и Щегловым), но в Лабораторию на полную ставку меня так и не зачислили. Я был преподавателем этого института по совместительству еще с осени, когда я начал там читать лекции по истории языкознания; я не собирался туда переходить совсем, предпочитая читать лекции в университете и в институте одновременно (меня даже успели поругать за это в факультетской стенной газете «Комсомолия»; поносивший меня в газете мог бы и еще пуще напуститься на меня, если бы узнал, что еще работаю и в Лаборатории электромоделирования у Гутенмахера вместе с В. Успенским, Е. Падучевой, М. Ланг- лебен; вопреки россказням прессы, особое рвение к труду у нас никогда не поощрялось).

С тех пор я не преподавал на филологическом факультете. Один раз еще до перестройки меня позвали открыть там учебный год лекцией, я согласился, было вывешено объявление, но приглашение отменили, как будто опять решением партбюро (мне по телефону было сказано нечто невнятное). За 30 с лишним лет, прошедших после моего изгнания с филологического факультета, я до сих пор на нем не воскресал в качестве преподавателя. Я читал лекции в Институте иностранных языков (хотя и там начальство проявляло нервозность по поводу моей неблагонадежности), потом на Высших сценарных курсах и на собраниях книголюбов в'Москве. И курсы лекций, и отдельные лекции я читал в Ленинграде, во многих республиках Союза — в Киеве, Таллинне, Тарту, Вильнюсе, Риге, Тбилиси, Самарканде. После начала реформ (начиная с 1988 г.) я ездил с лекциями по разным городам Германии, Швеции, Италии, Швейцарии, Голландии. Я преподавал в разных городах США, Канады,

Бразилии, Кубы. В Стэнфорде, а потом в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе, я смог вернуться к давно прерванному преподаванию моей главной специальности — сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков и связанных с ней курсов — таких, как древние языки Малой Азии, тохарские, прусский, которые я читал в университете перед увольнением. В Москве это пока не удается. Ю. Н. Афанасьев, став ректором Историко-архивного института (тогда еще не РГГУ), в 1988 г. пригласил меня читать лекции по семиотике, что я и делал целый год. За этим — с промежутком в 30 лет — последовало новое постановление Ученого совета филфака (за три десятилетия его состав мало изменился, хотя документы принимаются другие):

ВЫПИСКА
из протокола № 9 заседания ученого совета филологического ф-та МГУ имени М. В. Ломоносова
от 18 ноября 1988 года „
СЛУШАЛИ: об отмене решения ученого совета филологического факультета МГУ.
ПОСТАНОВИЛИ: отменить решение ученого совета филологического факультета МГУ от 24 декабря 1958 года об освобождении Вячеслава Всеволодовича Иванова от должности преподавателя филологического факультета Московского университета как необоснованное и ошибочное.
Председатель ученого совета И. Ф. Волков
Ученый секретарь Н. И. Хвесько

Когда меня пригласили в ректорат и там в присутствии нескольких известных ученых объявили об отмене ректором прежнего решения, я в ответ мог только сказать, что это напоминает посмертную реабилитацию. Представьте себе Жанну д'Арк, доживающую до последней сцены посвященной ей пьесы Шоу и узнающую, что она не была ведьмой! В отличие от многих других я дожил до времени перемен. Я принял предложение стать заведующим вновь созданной кафедрой (сначала ее величали «филиалом») теории и истории мировой культуры на философском факультете МГУ. Она объединила нескольких известных ученых (Е. М. Мелетинского, М. Л. Гаспарова, С. С. Аверинцева), с которыми мы на протяжении многих лет до того вместе занимались опытами нового описания культуры, литературы, мифологии. Нам всем до того не давали систематически преподавать в Москве. За пять лет работы на этой кафедре я прочитал целиком или частью введение в изучение

культуры и историю культуры Древнего Востока (этот курс я прочитал также и в Литературном Институте, где отзывчивость аудитории расположила меня к тому, чтобы прочитать несколько экстравагантную историю знаковых систем личности от эмбрионального состояния до предполагаемого посмертного, как то, что описано в последних стихах Случевско- го). В декабре 1993 г. перед Новым годом я ускоренным темпом (по 3 часа каждый день) заканчивал курс лекций о центральноазиатском (в частности, тохарском) буддизме. Идя на очередное занятие, я увидел у лифта на 9-м этаже гуманитарного корпуса фашистский знак, нарисованный на расписании моих лекций в сопровождении непечатного английского ругательства, адресованного всей нашей кафедре. Некоторые ее сотрудники уверяют меня, что коммунисты, гнездящиеся на философском факультете и в университете в целом, ненавидят кафедру, разместившуюся в помещении бывшего партбюро. Они хотят нас если не посадить, то разогнать. Возможно. Но работать и на кафедре, и в созданном при ней институте культурологии, которым я было тоже согласился руководить, трудно пока не из-за свастик и красных звезд. У университета нет на нас денег, помещения, заботы. А профессора, прежде сплоченные враждебностью официальной псевдонауки, теперь разбрелись, работают в разных местах и отчасти позабыли, что лучше всегда держаться вместе. Я сам написал устав основанного два года назад культурологического института, по которому его директор не должен быть старше 6 5 лет. Поэтому, подойдя к этому рубежу, я просил назначить другого его директором.

Филологический факультет только раз мелькнул передо мной в эти годы. Когда я вернулся в конце лета 1992 г. с Международного лингвистического конгресса в Квебеке, меня попросили прочитать небольшой курс о языке и культуре для того самого отделения структурной лигвистики, проект которого я когда-то придумывал. Я согласился. Но и в этих лекциях на первом плане были теперешние занятия нашей кафедры культурой, а не лингвистика как таковая. Вернуть меня к ней филологический факультет так и не удосужился.

Читать лекции в Москве одно удовольствие. Особенно если сравниваешь московскую аудиторию с американской, да и со многими другими (исключение составляет кубинская, в Гаване в начале весны 1989 г. я почувствовал тот же духовный голод и напряженную тягу к высшим ценностям, что у нас). В Москве в клубе МГУ на мой курс публичных лекций о русском артистическом и философском авангарде начала века осенью 1989 г. собиралось больше тысячи человек, в том же году в

американских университетах рекордным числом студентов был десяток. Отличаются и запросы аудитории. В Москве нужно сообщить слушателям немедленно, как и зачем мыслить и, главное, жить. В Америке большинство из них хочет либо получить хорошую отметку или университетский диплом, полезный для бизнеса, либо — в лучшем случае — узнать именно те сведения, которые нужны по программе (и желательно ничего кроме этого). Москва располагает растечься мыслию (или мышью — текстология насквозь спорного «Слова о полку Игореве» так и не решила; компьютерной мышью, сказали бы мы сейчас) по древу, Америка требует самоограничения. Последнее нужнее для науки. К первому мы все слишком привыкли. В дневниках Блока говорится о форме, которую из Европы может заимствовать русская душа, полная содержания, часто хаотического.

ОТ ЛИНГВИСТИКИ К КИБЕРНЕТИКЕ И СЕМИОТИКЕ

14

Я пропустил срок окончания кандидатской диссертации. Я писал ее с наслаждением, сам увлекаясь ходом открывавшегося прошлого языка, и не мог оторваться от нее и остановиться. Диссертация пухла и пухла, разрасталась на два толстых тома с приложениями. Кончилась аспирантура, я начал читать лекции, к ним надо было готовиться, я читал большинство курсов впервые, это не облегчало хода дописывания томов. Я работал по ночам, спал совсем мало, день проводил в библиотеках и читая лекции. Наконец я кончил диссертацию и отвез ее оппонентам. Защит у меня оказалось две. На первой защите весной 1955 г. лингвистическая секция Ученого совета признала диссертацию достойной высшей — докторской степени. Потребовалась новая защита на общем факультетском совете, том самом, который в несколько другом составе через три с половиной года меня уволил. Для второй защиты нужны были три оппонента — доктора наук. Все трое были из Ленинграда. А В. Десницкую, сменившую марристскую партийную карьеру на довольно серьезные научные занятия, я знал уже по московским дискуссиям. Я близко познакомился с двумя другими — иранистом А. А. Фрейманом, чья статья о хеттском языке на втором курсе меня увлекла и предопределила на много лет направление моих занятий, и В. В. Струве. Оба ученых жили в больших квартирах, показавшихся мне сумрачными и загроможденными мебелью и книгами. Струве, по главной профессии историк Древнего Востока, поразил меня широкими лингвистическими познаниями. С ним как с историком мне

хотелось обсудить свое нфлюдение (мне по молодости лет казавшееся открытием) о следах наследования от дяди к племяннику по материнской линии у хеттов. Для этого нужно было проинтерпретировать древнехеттско-аккадский двуязычный текст. Струве не задумываясь дал верную грамматическую интерпретацию породы (определенной формы) аккадского (семитского) глагола, употребленного в ключевой формуле. По другому поводу он уместно процитировал древнеперсидское слово, имеющее значение, сходное со мной изучавшимся хеттским. Он показал мне обширную картотеку древнейших месопотамских шумерских текстов, которыми был занят в то время. Удивил он меня и длинным списком очередных срочных работ; вскоре я сам стал составлять такие,же списки и со временем изумлялся тому, как многое из них удавалось успеть сделать (сейчас в списке первой стоит эта книга, которую вы читаете).

С Фрейманом мы говорили о его друге индологе Щербатском, чьей «Буддийской логикой» я тогда увлекался. Ее первоначальный русский вариант, изданный еще до революции, был мне знаком по библиотеке отца. А ленинградское издание книги по-английски вышло в начале 30-х годов, когда публикации Академии наук еще не цензуровались. Оно содержит язвительный выпад против материализма и замечательный «Индоевропейский диалог о реальности окружающего мира», где великие индийские и западноевропейские философы говорят друг с другом, как восточные и западные боги в поэмах Хлебникова. Это издание пролежало на складе Академии наук все трудное время (когда друзья и ученики Щербатского были арестованы, а его рукописи присвоил и издал под своим именем доносчик Кальянов). В самом преддверии оттепели я смог его купить и читал взахлеб. Эта книга потом помогала мне в занятиях буддизмом и лекциях о нем.

После второй защиты казалось, что я стал доктором в 26 лет, обо мне писали (и очень глупо) газеты. Вся эта шумиха продолжалась недолго. Присуждение степени должна была утвердить Высшая аттестационная комиссия (ВАК). Ее президиум по настоянию виднбго официального экономиста Островитянова отложил этот вопрос. А позднее на все напоминания, которые посылались в ВАК, следовал ответ, что диссертация и все дело о ней утеряны. Много лет мне не давали защитить диссертацию (уже другую, конечно), по политическим причинам: для защиты, как для поездки за границу, требовалось свидетельство благонадежности, подписанное «треугольником» — директором, секретарем парторганизации института и председателем месткома. Через 25 лет после той шумной защиты (моя жизнь пестрит длинными интервалами) мне присудил докторскую степень за работу о балтийском и славянском глаголе Вильнюсский университет — один из старейших в тогдашней империи. Через несколько месяцев после этой новой защиты председатель Ученого совета его филологического факультета историк литовского языка Палионис попросил меня приехать на один день в Вильнюс. Он рассказал мне, что из ВАКа сообщили: дело о моей защите потеряно. По возвращении в Москву я написал письмо тогдашнему главному эксперту ВАКа по лингвистике Г. В. Степанову. Извиняясь за то, что его затрудняю, я ему сообщал простой арифметический довод: у меня может не оказаться еще 2 5 лет до следующей защиты докторской диссертации (которая была бы уже третьей по счету), мне был тогда уже 51 год. Аргумент подействовал. Дело нашлось.

Мои первые две защиты в 1955 г. обратили на меня внимание

тогдашнего редактора журнала «Вопросы языкознания» В. В. Виноградова. Он предложил мне стать его заместителем. Этому предшествовала публикация в журнале моей подробной рецензии на книгу великого польского языковеда Ержи Куриловича об индоевропейском ударении. Курилович был одним из наших кумиров. Он соединял великолепное знание многих индоевропейских (в том числе и русского, на котором говорил совершенно свободно) и семитских языков с глубоким пониманием основ современной науки. В Лондоне он занимался в молодости у замечательного этнолога Малиновского. Одним из первых он задумался над применением в лингвистике аксиоматического метода, в математике доведенного до совершенства Гильбертом (позднее возможность представления любой области знаний в виде выводов из системы аксиом в математике была поставлена под сомнение теоремой Геделя, но в лингвистике и поэтике эти проблемы приходится решать следующим поколениям). Еще в молодости Курилович сделал поразительное открытие, имевшее очень большое значение и для моей первой диссертационной работы. Он обнаружил, что предположенная Фердинандом де Соссюром на основе вычислений по существу алгебраического характера индоевропейская звуковая единица (фонема, позднее названная «ларингальной», т. е. «гортанной») действительно отражена в хеттском языке, незадолго до того дешифрованном. Помимо непосредственного значения этого открытия для сравнения хеттско- го языка с другими индоевропейскими (чем я в основном и занимался в молодости) из него следуют очень важные выводы общего характера. В этом случае, как и в других аналогичных, оказывается, что абстрактные алгебраические построения в лингвистике дают результаты, проверяемые в случае обнаружения прежде неизвестных языков той же семьи. Это аналогично обнаружению на небе планеты, вычисленной на основе уравнений движений небесных тел. Имениеˆ это и делает историческую лингвистику одновременно и пока недосягаемым образцом для других гуманитарных наук, лишь изредка- достигающих такого уровня точности формулирования, и столь увлекательной и вместе с тем трудной областью занятий.

Понятно, с каким волнением мы читали и конспектировали каждую новую работу Куриловича. Меня он восхищал исключительной строгостью построения своих теорий. В отличие от большинства других лингвистов он избегал обилия ссылок на чужие мнения, но свою собственную точку зрения развивал во всей полноте. Его книга по индоевропейскому ударению, на которую я писал рецензию, содержала попытку опровергнуть все

взгляды, высказанные до него. С частью его парадоксальных утверждений (в частности, о латышских интонациях — музыкальных тонах, которыми я занимался специально) я не мог согласиться (хотя я и не настолько с ним расходился, как выдвинувшие совсем другие точки зрения лингвисты следующего поколения: Иллич-Свитыч, Дыбо, Зализняк). Во втором издании книги Курилович ответил на мою критику. Вскоре мы встретились на съезде лингвистов в Осло. Он удивился мне: «Какой молодой!» (мне не было еще 28 лет). Он был очень ко мне расположен и объяснил разницу в наших научных интересах ссылкой на возрастные различия. По поводу моего доклада в Осло он заметил, что и ему в молодости больше всего было интересно строить отдаленные реконструкции, для чего нужно смелое воображение, а сейчас ему ближе не столь удаленная от нас история отдельных языков. Не равняя себя с великими, могу сказать, что я видел в себе это возрастное ограничение (как бывает в шахматах, математике, музыке) уже по отношению к Илличу-Свитычу, а потом — тем более — к Старостину. Удивительный с этой точки зрения парадокс представляет современная американская лингвистика, где молодые лингвисты придирчиво и педантично критикуют крупного ученого старшего поколения Гринберга за его интересный и очень смелый опыт сравнения между собой всех языков американских индейцев. Поскольку это же различие проходит между более молодыми американскими лингвистами и нашими — их ровесниками в поколении Старостина, я эту разницу объясняю не биологически, а (противо)культурной традицией. Последняя может рано превратить молодых людей в стариков, отняв у них воображение вместе с другими дарами.

Занятия латышскими интонациями не только помогли мне в споре с Куриловичем. Благодаря им я смог познакомиться еще с одним великим ученым самого старшего поколения — латышским лингвистом Яном Эндзелином, одним из создателей сравнительного балтийского языкознания. Я изучал его работы на немецком и латышском языках еще в студенческие годы, а аспирантом нагрянул к нему в его имение на Западной Двине, названное им по-латышски Naka — «место, куда приходят». Ему было около восьмидесяти, он страдал жестокой бессонницей, но продолжал работать над очередной книгой о названиях рек Латвии. Его быт отличался крестьянской красотой: на столе стояли розы, в раскрытое окно влетали пчелы, мы с ним разговаривали в его саду у кустов смородины, обсуждая попутно этимологии названий ягод. Я оставил ему аккуратно переписанный рукописный текст своего спецвопроса и через

несколько недель заехал снова узнать его мнение. Он кормил меня латышским национальным блюдом, напоминавшим «молочные реки и кисельные берега» из русских сказок. Мою работу в целом он похвалил, сделав только одно замечание: я напрасно процитировал пересказ его лекций, изданный по-латышски его первой женой. Как я мог не заметить, что его мысли в этой книге искажены? Они очень давно расстались, а он все не переставал сердиться на то, как она переврала содержание его лекций. В третий раз я увидел его на юбилее, на который мы с Топоровым приехали в Ригу его поздравить. Все собравшиеся, в том числе и правительство Латвийской республики (тогда Советской), его ждали больше часа, а он все не ехал. Именно из-за правительства, которое он не хотел видеть, как он в отличие от всех не вставал в театре при появлении диктатора независимой Латвии, как не признавал нацистского гаулейтера. В конце концов его уговорили, сказав, что весь народ Латвии хочет его поздравить. И в самом деле, он был одновременно и Далем, и Фасмером, и Шахматовым для латышей, составителем этимологического словаря, автором главной исторической грамматики. Когда осенью 1993 года меня выбрали иностранным членом Латвийской академии наук, в письме об этом избрании было отмечено мое участие в делах латышской культуры в трудные для Латвии минувшие годы. Я испытал радость не только потому, что ученые подают друг другу руки вопреки безумствам политиков. Благодаря за избрание, в ответном письме я вспоминал прежде всего Эндзелина. Для меня в нем (как и в композиторе и собирателе музыкального фольклора Мельнгайлисе) воплотился сумрачный, суровый и своенравный дух старой Риги.

Моя рецензия на Куриловича появилась тогда, когда об иностранной науке писали еще мало и по-другому. В Москве на банкете в честь моего корейского товарища по аспирантуре блестящий ленинградский японист Холодович сказал мне, что моя рецензия нравится С. Д. Кацнельсону. Я очень ценил ранние труды этого оригинального ученого, которого преследовали и за его фамилию, и за то, что он был учеником Марра, а прежде всего за его талант (позднее Роман Якобсон рассказал мне, что Трубецкой перед смертью восхищенно отозвался о диссертации молодого Кацнель- сона, где, как у самого Трубецкого, сравнительные методы соединялись с изучением общих черт всех языков мира, которыми все мы стали заниматься позже вслед за ленинградскими учеными). Я рад был возможности встретиться с Кацнельсоном и Холодовичем в первый же приезд в Ленинград после знакомства со вторым из них. Они повели меня в ресторан.

Я погрузился в казавшийся старомодным мир, отличный от московской университетской науки. Слушая беседу о ларингальной гипотезе в ленинградском ресторане, я ощущал себя в старом европейском университетском городке почти вне времени.

Я начал работать в «Вопросах языкознания». По понедельникам собиралась утром редколлегия, а в середине недели я встречался по делам журнала с Виноградовым и ответственным секретарем редакции В. П. Григорьевым (позднее много сделавшим для издания и изучения Хлебникова и вообще поэзии нашего века). Виноградов был очень интересным собеседником, остроумным и язвительным, но и полным противоречий. Он ненавидел советскую власть, его сажали трижды. Первый раз по тому же процессу славистов, что и Сидорова. Виноградова из ссылки вызволил Ушаков, в обращениях к властям сославшийся на необходимость завершить словарь русского языка, одним из авторов которого был Виноградов (его фамилия исчезает в перечне авторов после ареста, потом появляется снова). Виноградов рассказывал мне о судьбе старых славистов, вернувшихся из заключения. Селищев по его словам все копал землю в том месте, где зарыл свои рукописи, и не мог их найти. Сперанский сошел с ума и мастерил какие-то бумажные кораблики. О самом себе Виноградов говорил, что самое страшное было, когда следователь доказывал ему, что он — фашист. Но я думаю, что не аресты и повторные ссылки и ругань в газетах сломили Виноградова, а уже после всего этого внезапно пришедшее вознесение его и возведение в ранг наместника Сталина в языкознании: о сталинских сочинених на эту тему Виноградов написал около полутора сотен статей! Трудноперенос имой его чертой было презрительное отношение к большинству людей вокруг. Добро бы он просто брюзжал и ворчал на тех многих, кто этого заслуживал. Он окружил себя ничтожествами и льстецами, в удобный для них час низвергших его с академических высот. Отделение литературы и языка, где он до этого низвержения долгие годы был полновластным правителем, до сих пор хранит следы того времени, когда он начал насаждать там карьеристов и подхалимов.

Для меня Виноградов делал исключение. До поры до времени я мог с ним спорить и пробовал это право использовать, чтобы несколько изменить характер журнала, да и всего того, что разрешалось тогда в нашей науке. Переменам помогли высокие родственные связи лингвиста С. К. Шаумяна, происходившего из семьи знаменитого большевика (что не помешало ему потом эмигрировать в Америку). На его примере я наблюдал, как у нас

осуществляются «революции сверху». Шаумян добивался изменения официального отношения к структурной лингвистике, считавшейся до того буржуазной лженаукой. Он действовал с помощью своих связей в ЦК партии. Виноградов пробовал сопротивляться. Шаумян прибегал к методам, которые можно считать пародией на террористические: зная, что Виноградов работает по ночам и встает поздно, он начал ему систематически звонить часов в восемь утра, если не раньше, осведомляясь, когда же начнется дискуссия о структурализме в «Вопросах языкознания». В конце концов (скорее из-за высоких покровителей Шаумяна, чем из желания оградить от него свой утренний сон) Виноградов сдался. Началась дискуссия о структурализме на страницах нашего журнала. Казалось бы, все разыгрывалось по прежней советской схеме, когда, например, нужна была дискуссия в «Правде», чтобы покончить с марризмом. Но времена менялись. Оказалось возможным привлечь к обсуждению иностранных ученых. А у наших участников обсуждения появились новые доводы в пользу структурализма: он может помочь в таких практически сущёственных областях прикладного языкознания, как машинный перевод. Я не могу сказать, что мы все сознательно кого-то обманывали, но сейчас нельзя не увидеть, что в спорах тех лет практическая полезность новых методов если не сильно преувеличивалась, то выдвигалась на первый план. Общество было ориентировано на прагматические задачи, власть готова была допустить все, что им должно было способствовать. Эти правила игры были известны всем. В этом мы подчинялись времени.

Одним из главных мест, нас объединявших, был Комитет по прикладной лингвистике. На его заседания мы съезжались в Ленинграде. На нем обсуждались разные вопросы, касавшиеся приложений нашей науки к технике связи, переводу, дефектологии (т.е. помощи людям, страдающим недостатками речи).

15

Машинным переводом как приложением новых способов более точного описания языка занималось несколько молодых лингвистов и математиков, ходивших и на наш с Успенским и Кузнецовым семинар. Главным заводилой в этой группе был Игорь Мельчук. Преодолев сопротивление Виноградова, я добился публикации в журнале статей Мельчука и его группы об алгоритмах машинного перевода с французского, венгерского и некоторых других языков. Налаживанию обсуждений работ в этой области помогало Объединение машинного перевода,

организованное при Педагогическом Институте иностранных языков В. Ю. Розенцвейгом (совсем недавно уже в преклонном возрасте он эмигрировал в США) и его другом, безвременно умершим рыцарем новой науки И. И. Ревзиным, отнесшимся ко всей этой сфере занятий с воодушевлением юношеского романтизма. Кроме более людных собраний нашего лингвистическо-математического семинара и Объединения машинного перевода я посещал и кружки, рассчитанные всего на нескольких участников. Больше всего запомнились происходившие по утрам занятия по книге выдающегося логика Венской школы Р. Карнапа «Логический синтаксис языка». В кружке участвовал видный логик Бочвар, соединявший профессии химика и логика. Занятия происходили в химическом институте, где он работал. Топоров и Шаумян заходили за мной и мы шли на кружок, где логики, лингвисты, математики размышляли вместе на темы лингвистической философии, ставшей к тому времени едва ли не главной отличительной приметой знания нашего века. Логический позитивизм Венской школы и ее продолжений послевоенного времени (когда Карнап и его ученик — другой логик, чей труд важен для анализа языка, — Рейхенбах оказались в том университете в Лос-Анджелесе, где я теперь читаю лекции) был нам созвучен. Мы устали от фраз официальной философии. Хотелось иметь дело с точно определяемыми понятиями и такими терминами, которые определимы посредством строго понимаемых операций.

В то время нас всех поразили идеи математической теории информации. Я и сейчас думаю, что обнаружение возможности количественного измерения основного, что сообщает любой текст, представляло одно из самых больших (и наименее оцененных вовремя) открытий века, совсем не скудного новостями в науке. Мне довелось много работать вместе с одним из создателей теории информации А. Н. Колмогоровым. Он рассказывал, что ему приходилось объяснять своим американским коллегам значение труда Шеннона по этой теории. Им казалось, что Шеннон — инженер, работа которого имеет прикладной характер. Колмогоров думал по поводу этой теории о возможности создания целого ряда наук, занимающихся такими общими вопросами, как информация. Мы с В. А Успенским и нашим общим другом физиком М. К. Поливановым по просьбе Колмогорова написали для него тезисы о нашем понимании кибернетики, которую мы и считали одной из будущих наук об общих проблемах. Наши разговоры продолжались далеко за полночь, нам было увлекательно размышлять о перспективах человеческого знания в целом. Колмогоров ответил нам

пространным посланием. Ему не нравилась наша ориентация на Винера. Когда этот последний приехал в Москву через несколько лет и я не только слушал его лекции, но и немного с ним говорил (он пробовал заразить меня своим пессимизмом в отношении возможностей применения математических методов в лингвистике и в других гуманитарных науках), я должен был признать проницательность Колмогорова. В тогдашней кибернетике, да и в позднейших работах об искусственном интеллекте, пришедших ей на смену, интереснее вопросы, чем ответы.

После увольнения из университета меня тут же выставили и из журнала. Виноградов был очень напуган и даже специально ходил на прием к Фурцевой, министру культуры и фаворитке Хрущева, тогда чуть не всемогущей. Он поспешил ее заверить, что я больше не заместитель его, она удивилась: про меня она вообще ничего не знала, слышала только, что мои родители дружны с Пастернаком и он с ними советовался, принимать ли Нобелевскую премию. Виноградов перестарался. Я убедился, что двери гуманитарных учреждений передо мной закрыты. Мне предложили тогда продолжить мои занятия машинным переводом в Институте точной механики и вычислительной техники. Я стал там заведовать группой, работавшей над машинным переводом, и прослужил там два года, с удовольствием занимаясь японским и китайским языками. Я познакомился со многими ғрудными сторонами тогдашних работ с компьютерами: отставала техника (мы работали с первым поколением советских вычислительных машин, громоздких и трудоемких), было мало дельных программистов и сложно было их получить для наших задач. Институт представлял собой странное смешение талантливых инженеров (к их числу принадлежал и директор Лебедев) и полуграмотных проходимцев, окопавшихся в партбюро: они, например, проводили всерьез расследование, почему я подписываю сотрудникам так много разрешений выйти из здания (а без мЬего разрешения они этого делать не имели права). Впрочем, раз выпивохи-гуляки из нашей группы (она не мной была раньше подобрана и была такой же смесью шпаны и интеллигентов, как и весь институт) так нализались в ресторане Курского вокзала, что сопровождавших их девиц-машинисток нашли потом в уборной в полуобморочном состоянии. Я прошел курс обучения советскому бизнесу, где в кабинете замдиректора стол ломится от икры для угощения иностранцев, а половина сотрудников слоняется без дела.

Но в те годы напряженно работал вновь созданный Научный

совет по кибернетике Академии наук. Я был в нем председателем Лингвистической секции. А всем Советом заведовал отставной адмирал Аксель Иванович Берг. В сборнике его памяти я напечатал подробную статью, где пытался с документальной точностью воспроизвести историю его героических попыток помочь нашей лингвистике и только еще возникавшей семиотике. Бергу и в этой области, как и во многих других (начиная с радиолокации, которой он занимался в годы войны, выйдя из тюрьмы), удалось очень много. Он был прирожденным организатором. Биография его была достаточно фантастической. Он посмеивался над тем, что он русский адмирал: «Отец — швед, мать — итальянка». Он говорил на старом интеллигентском русском языке с отличной дикцией, как моя мама, потомственная москвичка и бывшая мейерхольдовская актриса. Берг много читал на самые разные темы и на разных языках, у него был настоящий общественный темперамент, выражавшийся в потоке четко сформулированных проклятий дуракам, которых он предлагал немедленно расстреливать. Перед первой мировой войной он кончил кадетский корпус, плавал на подводной лодке. Когда она должна была затонуть, им выстрелили как миной. Он спасся, но плавать на судах больше не мог, занимался радиотехникой, потом радиоэлектроникой, читал лекции за границей, во время сталинского террора был арестован. Мы задумывали организовать Институт семиотики, меня прочили в заместители директора. Зашла речь о здании. Берг предложил помещение Бутырской тюрьмы. Он хорошо его знал ПО времени, проведенному там в заключении. Берг умел произносить положенные официальные фразы, но великолепно понимал истинное положение вещей. Когда Алика Есенина-Вольпина посадили в специальную психическую больницу для преступников, ***к*** пришел к Бергу посоветоваться, нельзя ли помочь ему. Выслушав меня, Берг показал глазами на висевший над столом портрет Хрущева: «Не знаю, как ему это понравится» (Алик только что напечатал за границей свой трактат против нашей официальной философии). Хрущев нападал тогда на интеллигенцию, натравливая на нее своих подручных.

Берг хотел содействовать развитию наших гуманитарных наук так же, как до того он способствовал оправданию прежде осуждавшейся кибернетики. Ему удалось провести через Президиум Академии наук составленный нами вместе проект постановления, по которому при некоторых институтах создавались специальные секторы структурной лингвистики. После организации сектора структурной типологии в Институте славяноведения тогдашний его заведующий В. Н. Топоров

пригласил меня перейти туда на работу, а потом передал мне этот сектор. Мы занимались очень широким спектром структурных и семиотических исследований языка, литературы, фольклора, мифологии. Оказалась возможной поездка в Западную Сибирь для изучения кетов. Я увидел современную культуру с причудливым соединением шаманизма и советской идеологии. Мы записали и напечатали в своих «Кетских сборниках» кетские песни о шамане Лесовкине, которого в разгар сталинского террора не могла взять пуля тех, кто хотел его расстрелять. А один из молодых кетов, вполне уже вошедших в современную жизнь, в ответ на мои расспросы о кетских мифологических существах пояснял мне, что они обитают в космосе, куда недавно посылали ракету для изучения планеты Венера.

16

В те годы меня продолжали занимать возможности математического исследования поэтического языка и поэзии. Этим стал интенсивно интересоваться Колмогоров. Он прочитал курс лекций о принципах и первых итогах таких исследований и организовал небольшой кружок. В него кроме сотрудников Колмогорова по его Институту статистики и по мехмату университета входили и мы с математиком И. М. Ягломом, незадолго до того выпустившим вместе со своим братом А. М. Ягломом хорошую популярную книгу о вероятности и информации (мы подружились с обоими братья- ми-близнецами: первый из них несколько лет назад умер, успев претерпеть множество невзгод от участия в правозащитном движении, а второго я встречаю в Бостоне, куда он эмигрировал). Я участвовал в работе Колмогорова и его сотрудников по изучению стиха Маяковского. Кроме того, я занимался ритмами современных поэтов и Цветаевой: как мне казалось, удалось с помощью статистики выявить основную ритмическую тенденцию «Поэмы конца», сказывающуюся в каждом из разнообразных размеров этого удивительного сочинения, топографический ключ к пониманию которого я нашел много позднее в Праге, пройдя по всем описанным в нем мостам и висячим семирамидиным садам.

Колмогоров вовлек нас всех и в свои опыты экспериментального определения количества информации в текстах разного рода. Нужно было пробовать угадать продолжение текста (например, перевода иностранной книги) по его началу (и иностранному подлиннику). Помню восторг Колмогорова, с которым он нам рассказывал о том, как угадал все посвященное какому-то советскому празднику стихотворение из отрывного календаря с его рифмами, прочитав только первые

его-'строки. Такие тексты содержат нулевую информацию. Количество информации можно понимать и как меру неожиданного в тексте. Колмогоров по этому поводу рассуждал о больших возможностях классической традиционной формы по сравнению с авангардной. Он занимался вычислением количества информации в «Евгении Онегине» и ее распределением по разным элементам художественной формы (метру, ритму, рифме, звукописи). Эти его исследования, мне представляющиеся в высшей степени замечательными, продолжали занятия таких формалистов, как Томашевский, но делали их более осмысленными благодаря отведенному для них месту в возникавшей информационной эстетике.

Колмогоров старался встречаться с теми немногими стиховедами, которые в то время еще продолжали старые свои работы. На музыкальном вечере у него дома, где он после разговора о метрике давал нам послушать привезенную из-за границы пластинку тогда заново открытого Куперена, я встретил давно мне знакомого С.П. Боброва, товарища Пастернака по «Центрифуге», и М. П. Штокмара. Из молодых ученых, начавших заниматься этой наукой, особенно ценил Колмогоров М. Л. Гаспарова, у которого видел понимание математической стороны дела при глубоком знании поэзии. Я нередко бывал у Колмогорова дома в Москве, он придирчиво и требовательно обсуждал со мной мои работы, не только стиховедческие, но и семиотические. Когда меня пригласили сделать доклад о математической лингвистике на пленарном заседании математического съезда в Ленинграде, Колмогоров позвал меня к себе на дачу в Комаровке на Клязьме, чтобы подробнее поговорить о плане доклада. Он показывал мне местность, гуляя вдоль реки, вместе со своим компаньоном по даче топологом П. С. Александровым кормил меня обедом (тот не упустил случая позубоскалить насчет массового интереса к кибернетике), демонстрировал свое собрание русских стихотворных сборников. За разговорами о музыке, поэзии, математике прошел целый день.

Колмогоров был человеком потенциально гениальным. Ему не повезло: он должен был жить в обществе, его пугавшем до оцепенения. Я имею в виду не столько явные проявления его политической трусости, многих от него отстранившие. Его страх касался и научных вопросов. Он боялся печатать многие из своих статей о поэзии. У меня дома лежит целая их пачка, ждущая публикации, как при жизни его не была напечатана и только в прошлом году изданная его ранняя историческая монография, основанная на применении статистических методов. Другая его черта, мне казавшаяся сомнительной, касалась его отношения к

Богу. Как-то, когда я заговорил на эту тему по поводу Флоренского, он так разозлился, что ушел из-за стола в доме у своего ученика, где мы были вместе с ним и Лотманом. Ему было тесно с Богом, в его вселенной для Бога не оставалось места. Поэтому в популярных докладах о кибернетике, которые он любил читать в середине 60-х годов, он охотно рассуждал о том, как можно было бы приготовить жизнь на другой физико-химической основе, например, кремниевой. По этой же причине ему, как и фон Нейману, с которым он сам себя охотно сравнивал, было увлекательно изучать возможности самовоспроизводящихся автоматов. Кибернетика в это время собиралась конкурировать с Творцом. Мне же в этом скорее видится нечто мефистофельское. Может быть, фаустовское. Когда мы были вместе с ним на конференции о математическом изучении поэтического языка в Горьком, по дороге в музей, куда мы шли вместе всей ватагой приезжих, он говорил о продлении срока молодости — едва ли не главной из фаустовских тем. Поплатился он за это долгим тяжелым временем болезней и медленного угасания. Ему затянувшееся расставание с жизнью было особенно мучительно, потому что он не был готов к этому. Я его помню спортсменом, в этом мы отличались полностью друг от друга, хотя на одном оттиске он мне и написал «от компаньона по плаванию»: мы случайно в одни и те же часы ходили плавать в бассейн возле Парка культуры, но для него — и никогда для меня — спорт был важной частью жизни. Не оттого ли его так манила античность? В ней он находил созвучие и своим сексуальным влечениям, о которых мне говорили близкие к нему люди. Как бы его склонности ни воплощались, вероятно, это делало трудным его существование в обществе, где гомосексуализм считался преступлением. На эту тему он начинал разговаривать дома в присутствии жены. Спорт, а иногда и любовь к мужскому телу, дополнительно объединяли его с учениками, общение с которыми было важной частью его жизни. Они приезжали ходить вместе с ним на лыжах. В его характеристике собственно человеческих возможностей видное место занимал слалом, кибернетическое подражание которому он считал невозможным.

Но в этих размышлениях о том, что может сделать только человек, а не компьютер, Колмогоров в те годы подошел и к действительно поразительным прозрениям. Они были связаны не только с его увлеченным исследованием языка и поэзии, но и с его интересом к человеческому зрению, которым его друзья занимались в той же лаборатории, где замечательную и опережающую то время работу делал Мика Бонгард (вскоре он погиб в горах во время альпинистского похода). Во время

изучения зрения, да и других систем человеческого распознавания образов и восприятия, как и при анализе поэзии и языка, можно столкнуться с невероятным числом операций, на которые должна быть способна теоретически возможная модель этих способностей человека. Так Колмогоров подошел к одному из главных достижений тех лет — математической теории сложности. Она оценивает наиболее сложные программы, решение которых требует времени неизмеримо большего, чем все то, что под силу было кибернетическим устройствам. Наука замечательна еще и тем, что она умеет понять и границы своих возможностей (и здесь Колмогоров опять сближается с фон Нейманом: я имею в виду его посмертно изданную книгу).

Конференция в Горьком в 1961 году пришлась на разгар колмогоровских занятий стихом. Он сделал там со своими сотрудниками несколько докладов и о конкретных стиховедческих анализах, и о более общих вопросах (мне особенно запомнился доклад о рифме и словаре поэта на материале Пушкина). Колмогоров внес в расписание конференции и элемент спортивной дезорганизации. Он с удовольствием читал доклады и их обсуждал, но едва ли не еще больше ему нравилось ходить по музеям и плавать в реке. Мы все поехали на катере по Волге и вернулись несколько позже назначенного срока вечернего заседания. Известный японист Конрад (тогда уже академик), сблизившийся со мной еще во время нашей работы в журнале и охотно откликнувшийся на приглашение участвовать в конференции, был скандализован нестандартным поведением своего коллеги по академии.

17

На конференции в Горьком собрались и все участники небольшого кружка по поэтике, который незадолго до того устроили в Институте иностранных языков мы с Жолковским и Щегловым, на свой лад продолжавшими идеи русских формалистов и особенно Эйзенштейна. Эстетикой последнего я заинтересовался за много лет до того. Повод к этому был удивителен. Я брал какие-то нужные мне книги в библиотеке Клуба писателей. Один из ее завсегдатаев, которого я не знал по имени, хотя не раз с ним говорил о своих литературных пристрастиях, вдруг стал мне рекомендовать статью Эйзенштейна о Диккенсе и Гриффите: «Прочтите обязательно. Вам очень понравится». Он не ошибся. Так по рекомендации незнакомца я погрузился в занятия, растянувшиеся на несколько лет жизни. Большая часть написанного Эйзенштейном тогда еще не была издана. С частью готовившихся к печати или еще тогда не

разрешенных для публикации рукописей меня знакомили причастные к архиву, потом я и сам стал в нем заниматься. Я увидел внутреннюю жизнь очень одаренного человека 20-х годов. Он не только принадлежал к поколению моих родителей. Вместе с моей мамой Эйзенштейн занимался у Мейерхольда в ГВЫРМе (Государственных высших режиссерских мастерских), вечерами с занятий они возвращались вместе вчетвером: Эйзенштейн с Юткевичем и моя мама со своей подругой. Сходства с моим отцом были глубже: та же тяга к Востоку, стилистика, Шкловским окрещенная «новым барокко», попытка соединения авангардного художественного эксперимента с его теоретическим осмыслением, влечение прежде всего к технической внешней стороне художественных открытий. Ко всем этим чертам облика Эйзенштейна я был подготовлен своим предыдущим опытом начиная с детства. Меня занимали и те стороны его интересов, которые затрудняли тогда и делают до сих пор проблематичным издание наиболее впечатляющих текстов, таких, как его многолетний дневник. Он испытывал влияние психоанализа. Но он вообще старался быть на свой лад откровенным. Более того, в определенном смысле подсознание у него было почти целиком втянуто в поле осознаваемой деятельности.

Я написал об эстетике Эйзенштейна большую книгу и несколько раз ее переписывал. Хотя на нее был заключен договор с издательством «Искусство», его директор, партийный философ, зять Гришина Долгов рукопись отверг (ему помогли и те специалисты по Эйзенштейну, которым не хотелось добиваться изменения официального его портрета как советского классика). Мне удалось опубликовать только сокращенные части рукописи в качестве глав книги об истории семиотики, изданной при поддержке Берга.

Семиотика кино в 70-е годы была в центре моих интересов. Я регулярно читал лекции на Высших сценарных курсах. Это давало мне возможность увидеть там же вместе с моими слушателями многие лучшие фильмы современного кино. Я стал часто бывать в кинотеатре «Иллюзион», где можно было посмотреть старые наши и заграничные фильмы. Эта страсть во мне была с детства, с того дня, когда тайком от мамы отец сводил меня на какой-то боевик, где грабители выламывали окна. Из 65-ти лет жизни не меньше шестидесяти прошли под знаком кино. В юности я присутствовал на съемках фильма по сценарию отца. Итальянский неореализм был одним из главных открытий послевоенного времени. «Восемь с половиной», начиная с того фестиваля в Москве, где Феллини получил за него приз, я видел раз десять. Конечно, было интересно поучаствовать в фильме и в качестве снимаемого, не

скажу — актера, французский документалист Крис Маркер, чьи работы отчасти напоминают эйзенш- тейновские замыслы интеллектуального кино, предложил мне сняться в 1988 году в его фильме «Наследие совы». Его тема — что осталось от Греции в современном мире, рождение которого мы ведем из Афин (их символ — сова). Мы поехали в Грузию, входившую когда-то в сферу воздействия Византии. Поскольку в фильме сквозной образ — платоновский пир, мы устроили пирушку в центре старого Тбилиси. Там на втором этаже на балконе мы с покойным Мерабом Мамардашвили по-французски говорили о греческом алфавите (его происхождением я занимался много лет) и греческой мысли. Крис Маркер смонтировал фильм (оказавшийся в конце концов очень длинным — из нескольких серий) так, что в первой серии на этой пирушке я читаю Пастернака:

И поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе,
На пире Платона во время чумы.

Я предложил, чтобы мы съездили в Западную Грузию, где возле Кутаиси сохранились развалины платоновской академии в Гелати. Мерабу не хотелось ехать, но он все же согласился. Был сильный ветер, заглушавший нашу с ним философскую беседу. Но главное: подвела советская пленка (Крис Маркер понадеялся на наше оборудование). От снятого в Кутаиси ничего не осталось, пропали все кадры. И нет Мераба. И нет той Грузии, где пиры не были инсценированы, а мы виделись с настоящими друзьями.

В сборнике статей об Андрее Тарковском, вышедшем несколько лет назад, я вспоминаю о наших с ним встречах. Мы были знакомы еще по времени, когда он как-то приезжал к своему отцу в писательский дом в Переделкине. Знакомство возобновилось, когда он показал мне своего «Рублева», тогда еще запрещенного. Фильм мне очень понравился. Мы стали часто видеться. Обычно мы проводили вечера у художника Михаила Ромадина (с ним Андрей вместе учился и разделял его художественные вкусы, я слышал его речь на Мишиной выставке на Кузнецком) и его жены, слушавшей мои лекции на сценарных курсах. Андрея занимал теоретический подход к кино, что видно из его книги. Он был во многом полярно противоположен Эйзенштейну. Разговор затягивался. Мы выходили вдвоем на совершенно пустые улицы. Он начинал мне говорить о значении волевого начала в творчестве. Андрей говорил мне: «И мы должны испытать все в русской истории, чтобы слепить искусство из этой грязи и крови!» Могли ли мы тогда думать, что он умрет в

эмиграции, а я буду показывать его «Рублева» американским студентам на своем курсе введения в русскую цивилизацию?

18

На мои занятия лингвистикой, поэтикой, семиотикой неизгладимое влияние оказал Роман Осипович Якобсон — своими работами, но и прежде всего своей личностью. Он впервые приехал в Москву во время бурной оттепели по окончании 20-го съезда. Для этого он (как и другие знаменитые слависты, не бывавшие много лет в России) воспользовался как предлогом совещанием Международного Комитета славистов, готовившего очередной международный съезд в Москве. Я помню день, когда мы с Топоровым, приглашенные на эти заседания, смотрели на входивших иностранных гостей в зале Президиума Академии наук. Топоров показал мне глазами на невысокого нестарого человека с решительными и быстрыми движениями: это Якобсон. Мы встречались и на его частых выступлениях (он был замечательным оратором), и дома у Лили Юрьевны Брик (как он мне потом говорил, именно она обратила на меня его внимание, а он склонен был ей верить), и потом у Пастернака (они были знакомы с юности, Пастернак говорил мне, что он запомнил его рыжеволосым юношей, читающим перевод «Облака в штанах» на французский; это не помешало моим университетским гонителям обвинять меня в том, что я их познакомил друг с другом!). Потом мы переписывались, посылали друг другу свои работы (Якобсон все читал и быстро отзывался), виделись много раз и в разных обстоятельствах, но всегда подолгу. Я помню поздний вечер в Осло перед докладом Якобсона на первом пленарном заседании Международного съезда лингвистов. Якобсон вошел в кафе перед его закрытием, он попал в воздушную бурю над Ньюфаундлендом и его самолет задержался. Когда я рассказывал этот эпизод одному из друзей, тот верно заметил, что попадать в бури было особенностью Якобсона. Но сделать на следующий день после бури блестящий доклад перед тысячью ученых мог он один!

Меня объединяло с Якобсоном сходство разнообразных научных и поэтических интересов, концентрировавшихся вокруг семиотики в самом широком смысле. Ко времени, когда Якобсон впервые приехал в Москву, он закончил работу над построением универсальной системы различительных признаков звуковых единиц языка. Он пробовал осмыслить ее в духе теории информации, что было близко к нашим интересам. Его занимало и построение аналогичных двоичных противопоставлений во внеязыковых системах знаков, таких, как мифология. Наши две книги с Топоровым о славянской мифологии несут на себе

отпечаток разговоров на эти темы, которые мы вели с Якобсоном. Некоторые результаты мы получали одновременно. Закончив большую статью об индоевропейских соответствиях славянскому имени бога грома Перуна, я получил оттиск Якобсона, где он предлагал то же сравнение с хеттским названием, что и я! Такие совпадения и потом у меня бывали с хорошими учеными, работавшими в тех же областях. Я склонен их объяснять теорией третьего мира Поппера: кроме мира вещей, в котором мы живем, и мира предметов культуры, которые мы создаем, есть еще и третий мир еще несделанных открытий, ненаписанных книг, неисполненных симфоний. Они существуют как платоновские идеи. Развитие культуры состоит в том, что мы их как бы считываем, постепенно до них доходя. Двое ученых в одной области часто осуществляют это считывание почти одновременно. Так было у меня с Якобсоном.

О научных работах Якобсона я написал несколько статей, в том числе довольно обстоятельные предисловия к двум сравнительна недавно у нас изданным его сборникам работ по лингвистике и поэтике. Первый из них подготавливался еще при его жизни, но цо политическим причинам не выходил до начала реформ. Но и во второй сборник, вышедший уже в более либеральное время, издательский редактор еще побоялся включить едва ли не лучшую статью Якобсона о поэзии — его отклик на самоубийство Маяковского «О поколении, растратившем своих поэтов». С моим вступлением она совсем недавно появилась в «Вопросах литературы». Якобсон хотел не только своими публикациями, но и сам вернуться на родину. К возникавшим на его пути в России (и как ему одно время казалось, в Россию) трудностям он относился болезненно. На одном из оттисков, мне присланных, он отозвался на них цитатой из Маяковского: «Я хочу быть понят...» Якобсона не любили не только официальные люди из верхов Академии наук. Соперника в нем видел Виноградов. Он настоял на публикации в «Вопросах языкознания» статьи Серебренникова, представлявшей собой грубый выпад против доклада Якобсона на съезде лингвистов в Осло. Я возражал против статьи. Договорились о том, что она будет напечатана рядом с моей, где я спорил с Серебренниковым. После этого тот, обозлившись, в качестве прошлого главы советской делегации на съезде в Осло написал на меня в момент, когда меня начали преследовать за дружбу с Пастернаком, донос. Из него выходило, что я выступил против линии советской делегации, поддержав доклад Якобсона (он содержал предложения о применении типологических методов при сравнительно-исторических исследованиях, поэтому для

политической его интерпретации требовалось воспаленное воображение). О доносе Серебренникова мне рассказал Виноградов. Биография Серебренникова, одаренного, хотя и невежественного полиглота, полусумасшедшего, члена партии и антисемита, была последовательной и характерной для многих будущих академиков: в стенной газете Института языкознания я прочитал, что во время войны он был в войсках КГБ; его специальностью была травля таких ученых, как Абаев. Но по отношению к Якобсону он был скорее орудием преследователей, чем их предводителем. Не он, а Виноградов подбивал или даже обязывал многих славистов (среди них и таких достойных людей, как Сидоров) выступить против доклада Якобсона на Международном славяноведческом съезде. В то время еще поддерживалось представление (его с чужих слов мне пересказывал и ректор МГУ Петровский, объясняя, почему ему предлагают меня уволить), что существует два языкознания: одно — марксистское (его главным проповедником долгие годы оставался Виноградов, втайне марксизм ненавидевший), другое — «буржуазное». С ним и отождествляли Якобсона. Он от этого страдал, советовался, стоит ли ему принимать официальные приглашения вернуться на родину.

С первого приезда в 1956 г. он твердил, что обнаружил в себе закоренелого москвича. Ему нравилось направление работ наших молодых ученых, со многими из которых (как с Падучевой, Мельчуком, Зализняком) он познакомился еще в самом начале их научных успехов. Он считал, что настоящие ученики и продолжатели у него есть именно в России, и был прав. Здесь у нас находила созвучие и широта его охвата современного знания, и неожиданность сближений далеких на первый взгляд областей, роднившая его научный стиль с поэзией, которой он был предан. Лучшим поэтом века для него оставался Хлебников. Но его поэтические вкусы были такими же всеобъемлющими, как его научные интересы. Собираясь повидаться с Ахматовой в один из последних приездов (говоря ее словами, вышла «невстреча»: она ему говорила о мемуарах Полонской^ он предпочитал собственный взгляд на Маяковского и жалел, что согласился на это свидание), он говорил мне, что хочет поделиться с ней своими замыслами изучения стихов графа Василия Комаровского (к сожалению, именно эта глава книги разборов произведений поэтов разных эпох осталась ненаписанной).

В 1967 г. у меня в день рождения Якобсон слушал стихи Иосифа Бродского, с которым я уже тогда дружил, Сосноры, которого привела к нам соседка по даче Л. Ю. Брик, а в конце вечера я почитал Якобсону и его жене Кристине Поморской свои

свободные стихи противоправительственного свойства. На следующий день Якобсон говорил мне, что его заинтересовало у всех трех авторов их анархическое отношение к государству, где они живут. Подробно о моих стихах он говорил со мной в последний свой приезд, когда мы встретились в Тбилиси во время всемирного съезда ученых, занимающихся бессознательным. В доме у общих друзей мы провели целый вечер, я прочитал стихи, написанные за те 11 лет, что мы не виделись (после советского вторжения в Чехословакию, которое Якобсон перенес в Праге во время Международного съезда славистов, он не приезжал в СССР до этого прощального раза). Якобсон их одобрил, нашел в новых развитие того, что ему нравилось в прежних. И он, и Кристина не сохраняли уже к тому времени никаких иллюзий по поводу советского режима и предлагали мне и Светлане помощь, если мы решимся на эмиграцию.

При большом интересе к поэзии и ее понимании Якобсон был прежде всего ученым и при образной манере изложения интересовался прежде всего логической структурой описываемого (оттого ему так близок был Пирс, американский философ и основатель логического направления в семиотике, при жизни в Америке не оцененный, о чем Якобсон часто вспоминал). Несходство поэтического взгляда на вещи с научным мне бросилось в глаза, когда я присутствовал при первой встрече Якобсона с Пастернаком в Переделкине. Пастернак начал с благодарностей по поводу старой (и в высшей степени замечательной) статьи Якобсона о прозе Пастернака (недавно она вышла по-русски в переводе О. Седаковой). Но тут же он перешел к проблеме, его в то время очень занимавшей: он не любит старой манеры, хочет писать по-другому. Выслушав его взволнованную метафорическую речь, Якобсон коротко резюмировал ее содержание тоном медика, ставящего безошибочный диагноз и формулирующего его на своем специальном языке: но так же всегда бывает при отказе от романтической манеры. Он заложил руки за голову, спокойная поза изобличала уверенность в себе и своих словах, контрастировавшую с встревоженными недоумениями Пастернака. На того Якобсон произвел огромное впечатление. Когда сидели за столом (уже во второй его приезд в Переделкино года через полтора), Пастернак во время его монолога, показывая на него, спросил Зинаиду Николаевну: Зина, правда, интересный человек?

Мы все очень хотели, чтобы Якобсон и Поморская приняли участие в очередной семиотической летней школе в Кяэрику возле Тарту. Иностранцев в Тарту в то время пускали с неохотой, добиться разрешения в Москве, где Якобсон был на

Международном съезде психологов, не удалось. Якобсон снова попытался добиться возможности поехать в Тарту в Ленинграде, где мы с ним были на продолжении съезда—симпозиуме по восприятию звуков речи. Оказалось, что ленинградские власти могут разрешить поездку, если у Якобсона будет сопровождающий. Мы решили, что им буду я. Якобсон со смехом рассказывал, как я приступил к своим обязанностям. Перед отъездом из гостиницы я должен был позвонить в местное отделение Интуриста и сказать, что мы выезжаем в Эстонию. Мне задали вопрос, какое настроение у Якобсона. На политическом тайном языке тех лет это означало: как он относится ко всему у нас происходящему? По словам Якобсона, я сказал: «Да гораздо лучше, чем у меня». Я в самом деле был близок к отчаянию (как часто в те годы). Главным образом по причинам общественным, тогда для меня значившим особенно много. Якобсон жаловался на мою депрессию, говоря, что она и на него воздействует, пробовал меня из нее вывести. Он ссылался на пример Шахматова, столько занимавшегося общественными делами и не впадавшего в уныние.

Мы благополучно доехали до Таллинна и уже было направились к тартускому поезду, но тут нас встречавший испугался и на всякий случай стал спрашивать разрешение у кого-то официального (чего в прежнем Союзе делать никогда не следовало). Нам всем велели поселиться в гостинице и дожидаться решения местных властей, не отлучаясь из города. Мы обо многих научных проблемах успели переговорить с Романом за эти два дня, потом мы смогли наконец поехать в Кяэрику и добирались сперва поездом, потом на машине, это был поток Романовых воспоминаний: Ходасевич, Цветаева, Маяковский, сестры Эльза и Лиля. Дальше конференция, где Якобсон, вероятно, впервые после долгих лет чувствует себя среди своих учеников и продолжателей (по его словам, в Америке этого чувства не было). Он делал доклад о стихах Радищева, выступал чуть не по каждому докладу, детально обсуждал проекты предстоящих работ.

Я участвовал во многих международных конференциях, где былЯкобсон, он всегда был в центре внимания (хотя в Осло кроме него были и другие великие ученые того поколения — Бенвенист, Курилович, Ельмслев, с каждым из которых мне довелось поговорить вволю). А здесь, в Кяэрику, его внимание было сосредоточено на происходившем. Не все ему нравилось. Он мне жаловался на эссеический импрессионизм некоторых из литературоведческих рассуждений. Но он, как тогда все мы, был уверен, что мы на верном пути к осознанию единства методов

всех наук, занимающихся знаками и текстами. Он заражал нас праздничностью своего подхода к науке.

От последней встречи на конференции о бессознательном, особенно от расставания с ним у меня было горькое чувство. Физически он был слаб. Мучили боли в ногах, ходить и особенно стоять было непереносимо трудно. Я понимал что мы прощаемся навсегда, он же, вечный будетлянин, говорил уже о следующих поездках и работах, планировал деятельность на следующие месяцы. Когда он умирал, он хотел меня видеть, но меня тогда еще не выпускали во внешний мир (не смог приехать и второй, кого он хотел видеть перед смертью, — Леви-Строс).

Якобсон подчеркивал игровой характер отношения к науке, который был у них всех в молодости. Он говорил, что ему поэтому странно видеть, что об этом пишутся толстые книги с солидной библиографией. Его наука была веселой. Он увлекался ей, как жизнью, как женщинами. Он с завистью говорил о поколении Пастернака и Трубецкого (сам он был немного моложе): они уже сложились как люди и как профессионалы к началувойн и революций (к этому поколению он причислял Джойса, Стравинского, Брака). А я его в широком смысле относил к той же эпохе, определившей основное направление всего столетия. Яркость этих людей не только делает трудным соперничество с ними. Они приоткрыли завесу. Нужно заглянуть еще дальше. Это нелегко.

19

Клонился к закату солнечный переделкинский день. К нам на дачу без предупреждения (как было тогда у нас принято — необычность этого я оценил, только пожив за границей) забрел сравнительно молодой и молодцеватый, очень веселый усатый человек со сверхъестественно (даже для нашей тогдашней органически скромной жизни не напоказ) поношенным и даже рваным портфелем (хотя чем-чем, а именно этим никого из нас нельзя было удивить: наш кэгэбэшный замдиректора института с красочной фамилией Шептунов всерьез просил меня убедить друга не перевязывать больше марлей порванную ручку портфеля, тогда же еще один друг — физик М. К. Поливанов описывал мне, как авоська в руках Сахарова выделяется на фоне куда лучше экипированных и вообще более преуспевших коллег его по Академии). Оказалось, что усач — Лотман. Он был по делу у Корнея Ивановича Чуковского (мы с ним были давно дружны, о нем я рассказывал в уже дважды печатавшихся воспоминаниях), а после него зашел ко мне. Я о Лотмане много слышал. Мои друзья по Лаборатории машинного перевода Педагогического института

читали и обсуждали рукопись его вскоре прославившейся книги по поэтике. Мы сразу подружились. Я дал Лотману свой только вышедший очерк структуры хеттского языка, он обещал почитать, сказав, что лингвистика его занимает. Я пошел провожать его на станцию, дорога покороче шла тогда полем через покосившиеся овсы. Мне запомнился разговор о наших общих семиотических планах, косые солнечные лучи, колосья, поле, со многим в жизни связавшееся. От Лотмана осталось чувство энергии, жизнеутверждения, веселья. Мне и тогда, и позже в нем виделся прежде всего человек, мне созвучный глубинно. Поэтому когда в середине августа того же (19 6 3 -го) года я узнал, что чиновные антисемиты с филологического факультета Московского университета в который раз оказались верны себе, не приняв в студенты Г. Суперфина, я сразу послал Лотману телеграмму с просьбой помочь ему поступить в Тартуский университет. Лотман тут же откликнулся. Суперфин стал у него учиться. Его незаурядный талант и своеобразный характер со мной не раз обсуждала (адресуя мне и упрек тоже) жена Лотмана Зара Григорьевна Минц. С ней я познакомился немного позднее: ее не было в Эстонии, когда я нагрянул к Лотману на дачу в Эльву, где он жил с детьми и их нянькой, с которой он говорил по-эстонски. Я только потом понял, что мы с Таней причинили Юрию Михайловичу массу беспокойств: ему буквально некуда было нас девать на небольшой даче, которую он снимал. День перед нашим приездом он посвятил закупке раскладушек и матрацев. Быт Лотмана не тяготил. Кроме доброго нрава, данного ему от рождения, сказывался и фронтовой опыт. Эта же офицерская закалка помогала отстоять науку.

После устроенного нашим Сектором в Институте славяноведения с помощью Берга московского семиотического симпозиума 1962-го года, по времени совпавшего с хрущевскими гонениями на интеллигенцию, на нас обрушились доносы и поношения. Их организовывал будущий директор Института и будущий академик Марков, главный специалист по социалистическому реализму (до этого он был свинопасом, но потом выдвинулся). Принял в нападении участие главный партийный идеолог Ильичев, напечатавший брошюрку, нас поносящую, поговаривали, что с помощью работавшего в ЦК сотрудника нашего института Удальцова готовили против нас и постановление ЦК. Власть учуяла в нас идеологических врагов. Пришел в панику тогдашний президент Академии Келдыш, его страх передался даже Бергу и Ляпунову, которые ругали меня за неосторожность. Постепенно печататься в Москве, во всяком случае на семиотические темы, стало невозможно. На выручку

пришел Лотман.

Принятое теперь название тартуско-московской школы обозначает ту большую группу московских ученых, которым Лотман дал возможность участвовать в летних школах, конференциях и симпозиумах в Тарту или под Тарту в Кяэрику и печататься в сборниках тезисов и докладов этих школ и в созданных им «Трудах по знаковым системам». Не нужно думать, что добиться этого было легко. Помогала изобретательность Лотмана и его чувство юмора. Минц и Лотман готовят блоковскую конференцию, приглашают меня среди других москвичей. Я им посылаю тезисы (о ритме «Шагов командора») и одновременно сообщаю, что дирекция Института славяноведения на литературоведческую конференцию меня не пустит: в отведенном нам месте академического концлагеря лингвистика выступает в роли лесозаготовок, ничем кроме заниматься нельзя (но и внутри лингвистики есть запреты: нам, например, не положено в Институте славяноведения заниматься русским языком, хоть он и славянский: на то есть Институт русского языка!, вторя нашему главному врагу Шептунову, Н. И. Толстой, будущий академик, все обвинял наш Сектор в выходе за границы официального славяноведения, им самим воплощаемого). Лотман вникает в мои бюрократические трудности и присылает мне приглашение выступить на методологическом семинаре при его кафедре о новых методах в лингвистике. Дирекция величественно разрешает мне ехать, но обязательно в сопровождении надежного сотрудника из другого Сектора Института (назовем его условно «Петров», но все касающиеся его и этой истории детали реальны за исключением фамилии). Когда я и Светлана приходим в поезд, Петров оказывается в соседнем купе. Вагон постепенно наполняется знакомыми стиховедами, литературоведами, историками русского серебряного века, Петров никого из них не знает, но удивленно спрашивает меня, почему столько московских филологов едет в Тарту (факт блоковской конференции ему так и остался неизвестен). Я отделываюсь какими-то общими фразами о популярности Тартуского университета. Удивлению Петрова нет границ, когда около шести утра поезд приходит в Тарту и вся привокзальная площадь оказывается запруженной блоковедами. Среди них возникает Лотман, я его знакомлю с Петровым и мы уславливаемся о времени заседания методологического семинара, на который мы с Петровым командированы нашей дирекцией. Время семинара раннее, потому что нужно его завершить до начала утреннего заседания блоковской конференции. Но в этот ранний час Петров не появляется на семинаре, а без него нельзя начинать, он же

должен удостовериться, что я недаром ездил в Тарту. Лотман берет такси и отправляется на поиски пропавшего моего спутника. Ему помогает знание университетского города и его жителей, из которых немногие могли оказаться друзьями Петрова («типа Петрова» или как теперь принято говорить, «типа того»...). Он находит одного Петрова у другого Петрова (совпадение их неусловных фамилий — тоже исторический факт, как и все остальные в моем рассказе при всей его кажущейся фантастичности). Лотман выговаривает московскому Петрову: тот заставил нас ждать, победно возвращается, как с «языком» на фронте, к нам. Семинар начинается. Я рассказываю о волновавших меня тогда двоичных противопоставлениях (например, звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные), изучение которых объединяет лингвистику и другие области семиотики, занимающиеся символикой правого и левого, добра и зла, чета и нечета (я задумывал об этом книгу, написанную потом залпом за одну бессонную неделю).

Среди других гостей конференции на этот семинар Лотман пригласил и С. С. Аверинцева. Тот не был посвящен в наши хитрости с Петровым. Он внимательно меня выслушал и поддержал в своем духе: «Вячеслав Всеволодович, Вы ведь занимаетесь поэтикой Бога!» На этом семинар кончился. Мы вернулись на блоковскую конференцию, а Петров к своему однофамильцу. Ему с тем было настолько хорошо, что, встретив меня на улице перед концом блоковской конференции, он спросил, не буду ли я возражать, если он еще задержится в Тарту и не вернется со мной с Москву; как будто он в Тарту впервые приобщился к науке: мне говорили, что в Москве он увлеченно пересказал мой доклад у себя на секторе. Там мы с ним расстались. Но когда после многих лет воздержания мне разрешили поехать в Польшу, Петров был со мной не только в одном вагоне, а в одном купе. А вернувшись поздно ночью из гостей в первый день в Варшаве, я увидел его ожидающим у моей двери в гостинице: «Я хотел проверить: все ли у Вас в порядке». В Польше он был дисциплинированнее, чем в Эстонии.

Можно было бы написать трактат о постоянстве сопровождающих лиц. Мой отец уже в последние годы жизни получил приглашение в Индию на столетие Тагора. Он отдал его в Иностранную комиссию Союза писателей. Было либеральное время оттепели, его пускали в разные страны. Ему сказали, что он может ехать, но в сопровождении кандидата филологических наук Е. П. Челышева (фамилия подлинная). Он поехал и вернулся довольный поездкой в Индию, о которой столько мечтал в юности. Прошло почти 30 лет. Наступили реформы. Я получил

приглашение сделать пленарный доклад о соотношении литературоведения и семиотики на Международном конгрессе по сравнительному литературоведению в Мюнхене. Мне сказали в Иностранном отделе Академии наук, что я могу ехать, но в составе делегации, которую возглавляет Е. П. Челышев. Тот же, который сопровождал отца. Но теперь он не кандидат наук, а академик. Россия — страна семейных прочных традиций.

Возвращаясь к Тарту. Случай с условным Петровым не единичный. Одного из москвичей, побывавших в Тарту, вызвали в КГБ, где жаловались на закрытость лотмановских летних школ. У КГБ, дескать, нет достаточных данных о том, что там за закрытыми дверями делается. Лотман и в самом деле заботился о том, чтобы случайных Петровых там не было. Мы были в своем кругу. Нас было мало. Лотман отбирал людей тщательно. Поэтому за сравнительно короткий период, пока и Лотману не начали мешать тартуские его недоброжелатели, удалось сделать и напечатать так много.

Нас с Лотманом объединяло далеко заходившее не просто сходство, а тождество научных и литературных интересов. Почти в одно время с ним мы занялись всерьез семиотикой кино. Мне прежде всего интересно было понять, как можно передавать образы заведомо неязыковым способом. Мы вместе ходили на фильмы, которые нам показывали в Госфильмофонде. Но особенно разительным было совпадение наших занятий соотношением двух полушарий мозга, одно из которых специализируется на языковых знаках. Я сделал доклад о диалоге двух полушарий на небольшой конференции, устроенной нашей Секцией Совета по кибернетике в Вычислительном Центре Академии наук. Лотман очень заинтересовался моим докладом. Вскоре он подготовил специальный выпуск «Трудов по знаковым системам», посвященный этим проблемам. Мы оба много получили от общения с ленинградской группой психиатров, возглавлявшейся Л. Я. Балоновым. Лотман с ними подружился в Эльве, а я участвовал в их экспериментальной работе в Ленинграде. Они изучали поведение пациентов после односторонних электросудорожных шоков. Лотман им говорил, что нельзя ограничиваться выводами, полученными при изучении душевнобольных. Необходимо изучать здоровых людей. И предлагал себя в качестве объекта для эксперимента. В этом нешуточном предложении выражалась существенная черта Лотмана: его героизм. Он принес с фронта тот опыт поколения, который помог нам всем. Он не был безрассудно храбр, рассчитывал свои силы и умел отступать. Но он был по-военному практически умен и сумел на время вывести нашу гуманитарную

науку из болота, где она застряла.

20

В то время, когда я писал «Чет и нечет», занятия левым и правым полушарием захватили меня полностью. Ночами шел непрерывный поток размышлений на эти темы, не дававший спать. Работали не только оба полушария, но и какие-то еще не описанные части мозга. С таким же энтузиазмом отнесся к этим проблемам наш близкий друг Сергей Юрьевич Маслов, талантливый ленинградский ученый. Приезжая в Ленинград, я обычно рассказывал о своих текущих работах на его домашнем семинаре, где собирались его ученики-логики и многие другие ученые, объединявшиеся серьезным отношением к науке в целом и пониманием ее единства. Маслов предложил увлекательную схему чередования левополушарной (логической и классицистической) и правополушарной (образной и барочной) тенденций в развитии искусства и культуры вообще в соотношении с факторами социальными. Когда он докладывал свою идею в Москве, многие (в том числе и Лотман) отнеслись к его построению сдержанно: перспектива казалась неоглядно широкой. Он разбился на машине при неясных обстоятельствах (он ехал из Ленинграда к нам на дачу с женой Ниной Масловой, тоже одаренным математиком и нашим другом, тогда она пострадала от аварии, но осталась в живых, умерла осенью 1993г.). Его теория теперь начала находить последователей и продолжателей.

Для меня занятия функциональной асимметрией мозга и экспериментальная работа с группой Балонова были частью давно начавшихся попыток соединения лингвистики и семиотики с биологией. Я рассуждал так: неслыханные успехи генетики и молекулярной биологии, создававшейся на глазах нашего поколения и на нас всех произведшей огромное впечатление, основывались на использовании тех наук; которые развились раньше: физики и химии. Мы все в юности читали книжки о теории относительности и квантовой механике, понимали значимость этих (у нас долгое время державшихся под подозрением) новых областей знания. Подобно тому, как биология обогатилась благодаря возможностям использования достижений физики и химии, мы должны найти способ соединить с биологией науки о человеке и таким образом их перестроить. И здесь толчок к реальным занятиям дал Роман Якобсон, во время своего первого приезда рассказывавший о своих занятиях афазией — расстройствами речи при поражении мозга. Я познакомился с А. Р. Лурия, пригласившим меня участвовать в его разборах

больных в Лаборатории Института нейрохирургии имени Бурденко. Я много лет занимался афазией с Лурия и его сотрудниками, потом с польскими и западными специалистами.

Лурия с присущей ему ясностью мысли осознавал себя как последнего из группы друзей, приверженцев и учеников Выготского. Когда я занимался Эйзенштейном и его архивом (отчасти с помощью того же Лурия, показывавшего мне хранившиеся у него части дневника Эйзенштейна), я узнал о кружке, в который входили Выготский, Эйзенштейн, Лурия и Марр. Они хотели понять законы архаического образного сознания в их связи с искусством. Лурия давал мне читать свои старые рукописи неизданных работ, по которым я постепенно смог восстановить его движение от психоанализа к современной экспериментальной психологии. У вдовы Выготского я получил рукопись его «Психологии искусства» и с трудом добился ее издания. Лурия мне помогал. Волновался о последствиях другой ученик Выготского, сделавший официальную советскую карьеру, — А. Н. Леонтьев. Он задал вопрос: «А не повредит ли издание книги школе Выготского?». Выготский, частично восстановленный в правах крупного психолога после оттепели, но еще не полностью изданный, существовал тогда в качестве полуофициальной иконы: на него уже можно было молиться, но лучше было не изучать его как следует. Мне у Выготского были созвучны его попытки соединения занятий мозгом, личностью и культурой, особенно в последние годы его жизни, рано оборванной болезнью.

Перед смертью Выготского травили, запрещали после его преждевременной смерти. Я склонен думать, что его ссылки на Маркса (и тем более на Троцкого и Бухарина — я взял на себя грех вырезать их из «Психологии искусства» — тогда их еще нельзя было цитировать) были в большой степени данью необходимости. Как философ он испытал сильное воздействие Спинозы. Предстоит еще реконструировать его подлинное мировоззрение. Многие обращают внимание на сходства Бахтина и Выготского (который читал Бахтина под фамилией Волошинова). Когда я спросил Бахтина, с которым я много виделся в последние годы его жизни, почему он печатался под чужим именем, тот ответил: «Вячеслав Всеволодович, неужели Вы думаете, что я мог бы поставить свое имя на книге с названием «Марксизм и философия языка»?» Проблема непроста: Бахтин не просто взял чужое имя, он частично стилизовал текст в духе предполагаемого марксиста, занимающегося философией языка. В книге есть два голоса: самого Бахтина и этого стилизованного марксиста. Я думаю, что аналогичные проблемы выделения

собственной мысли автора из-под наслоений обязательных цитат и чужих мнений встают и по отношению к Выготскому и раннему Лурия. К тому времени, когда я близко познакомился с Лурия, у того позади были гонения и на Выготского, и на него самого, и долгий опыт приспособления к режиму, кончившийся (как, скажем, и у Шостаковича) вступлением в партию и публикацией очень ортодоксальных статей в партийных журналах. Он уже не просто хотел сохранить свою кафедру и учеников и продолжать ездить за границу. Он стал слугой режима, хотя и оставался остроумным, часто блестящим, ироничным, сверхинтеллигентным.

После многолетнего перерыва наши встречи с Лурия снова участились в последние месяцы его жизни. И я, и некоторые из молодых его учеников занимались правым полушарием и его функциями. Однажды Лурия мне сказал: «Я потратил двадцать лет на изучение функций левого полушария. Иметь бы хоть десять лет на правое полушарие. Но их нет!» Он звонил мне чуть не ежедневно, следил за движением этой области исследований, тогда очень быстрым. Но у него было всего несколько месяцев, меньше, чем он рассчитывал.

Одним из бесспорных достоинств Лурия было его умение восхищаться другими — и мертвыми, как Выготский и Эйзенштейн, И (тогда) живыми, как Якобсон и физиолог Н. А. Бернштейн. Этот замечательный ученый, один из несомненных ранних предвестников кибернетики, был учеником Павлова, отошел от него и написал критический разбор павловского учения, оставшийся в рукописи сперва из-за смерти учителя, потом по причинам политическим. Но когда после войны вульгаризированный вариант павловской догмы был навязан всем как единственно возможный, Бернштейна лишили его лаборатории. Тогда он стал наркоманом. Я нередко у него бывал. Но он просил приходить к нему рано, до первого приема морфия. Он знал, что потом ему будет трудно сосредоточиться. Впрочем, я слышал несколько его докладов в разное время дня, они были четкими и прекрасными по форме. Он ближе всех подошел к объединению физиологии и таких семиотических областей исследования, как изучение письма и почерка. Научной частью графологии он занимался в последние годы жизни, уже чувствуя себя совсем одиноким: более молодые ученые, открывшие его заново, каждый занимались своим. Я бывал у него с, пожалуй, единственным, кто ему был верен, — моим другом М. Л. Цетлиным.

После безвременной смерти Цетлина для сборника его работ по кибернетике и биологии я написал подробную его биографию.

Она была запрещена цензурой, решившей, что в таком тоне можно писать только о Ленине или по крайней мере о Королеве. Много лет спустя я напечатал эту биографию в кибернетическом сборнике, изданном ничтожно малым тиражом. Я узнал Цетлина, когда Берг назначил его научным секретарем Совета по кибернетике. По образованию он был математиком и физиком, главные его достижения лежат в области инженерных технических изобретений. Хотя большая часть недолгой его жизни ушла на службу в армии (на фронте и после войны) и на работу на военном заводе (никуда больше по окончании университета он не мог устроиться, принадлежа по Шафаревичу к «малому» народу), он сделал открытий и изобретений больше, чем сверхзнаменитые академики. Но для меня главным был независимый и дерзкий строй его мысли, не знавший никаких предписаний и ограничений. Мы вместе работали, пили, ходили в двухнедельный поход по брянским и калужским лесам. В каком-то смысле он был полярно противоположен Лурия: весь из острых углов и несглаженных противоречий.

С экспериментальной биологией применительно к звукам языка я познакомился в те же годы кибернетической бури и натиска, работая вместе с Людмилой Андреевной Чистович в ее ленинградской лаборатории. Из этого поколения ученых, которые вслед за Бернштейном пробовали по-новому понять организацию движений и человеческое восприятие, Чистович была едва ли не самой одаренной. Меня поразила не столько созданная ею теория восприятия речи, сколько самый ее метод мышления посредством экспериментов. Месяц, проведенный в ее лаборатории, был как бы еще одним учебным заведением, которое удалось кончить.

На рубеже восьмидесятых годов и позже мы со Светланой ездили на летние школы, которые устраивала лаборатория В. Скулачева. Я рассказывал его сотрудникам о своих занятиях и узнавал от них о новостях биологии. В этих о б суждениях-никаких преград между областями знания не было. Там же мы подружились с И. С. Шкловским. С ним я встречался и на таллиннской конференции о внеземных цивилизациях. Я написал работу о возможных особенностях передачи информации такими космическими объектами, организация которых не имеет ограничений, наложенных на наш мозг.

21

Но если говорить о тех, у кого я учился в науке за пределами области моих собственных занятий, это были прежде всего физики. Жизнь так сложилась, что среди близких друзей детства был физик М. Л. Левин, человек, разнообразно (в том числе и

литературно) одаренный. Он мне объяснил простые истины, касающиеся математики и физики и их соотношения (он был из числа тех, кто предпочитал физику как таковую построениям доказательств математической физики, для меня это различие стало существенным, когда математическая лингвистика стала пародировать математическую физику). Я дружил позднее и со многими другими физиками и математиками. Человеческий пример несокрушимости я мог извлечь из общения с П. Л. Капицей. Мои родители и я с ним сблизились в годы, когда он жил в опале на своей даче на Николиной горе. После изгнания из Института, оборудование которого ему подарил Резерфорд, когда Капицу силой оставили в России, лабораторию для себя он устроил в бывшем гараже. Я был свидетелем возврата к нему былых академических друзей сразу после ареста Берия. Петр Леонидович рассказывал потом со слов одного из членов сталинского Политбюро, что Сталин при других «вождях» читал вслух письмо Капицы, винившего Берию в уничтожении науки посредством засекречивания. Читая. Сталин как бы подначивал Берию: «Послушай, Лаврентий, как он о тебе пишет!» Капица спросил рассказывавшего, что тот думает, почему же его не погубили совсем. Тот ответил: «Потому что Вы не подняли руки вверх!» Уже после своего изгнания из созданного им замечательного Института физических проблем Капица не пришел на заседание Академии наук, посвященное юбилею Сталина. Маленков вызвал президента Академии наук Вавилова и предложил исключить Капицу из Академии за непосещение заседаний. Вавилов сказал, что в таком случае надо исключить и того академика, который не был ни на одном заседании. Это был Шолохов. Вопрос был снят. Мнимый автор «Тихого Дона» хоть раз помог своим вечным отсутствием на пустом месте.

Мы встречали с Капицей и его семьей Новый год. В своем тосте он высказал озабоченность о присутствовавшей молодежи: как бы из нас не выросли циники под давлением обстоятельств. Капица сам был примером сохранения основных жизненных ценностей. Мы часто с ним разговаривали на общественные темы. Его заботило будущее страны, он пытался продумать неотложные меры, которые надо бы принять, он излагал их письменно, как делал и во время своей переписки со Сталиным (сейчас частично напечатанной), но брезгливо уклонялся от общения с политическими лидерами (например, Кириленко), иногда пытавшимися с ним поговорить. Он был убежденным русским патриотом, верившим в особенность русского пути. Долго прожив на Западе, он считал, что есть такие произведения русской культуры (он называл мне в одном ряду собор Василия

Блаженного, Гоголя и Мусоргского), которые малопонятны иноземцу; в последние годы он часто говорил о необходимости снять запрет с русской религиозной философии.

У Капицы я не раз видел Ландау, с которым мы сблизились. Я написал подробно о нем, его ирония, парадоксальный способ говорить о науке, отсутствие уважения к стандартам оказали на меня влияние в молодости. Но здесь я хочу упомянуть только об одном разговоре с ним. Мы оказались вместе на новогоднем вечере в доме у Ю. Б. Харитона. Я встречал там Новый год 1957 в молодежной компании, а хозяин дома с Л. Д. Ландау, приехав с приема в Кремле, присоединились к нам позже. Ландау тут же бросается ухаживать за одной из эффектных юных дам, скрывается с ней в одной из комнат, повергая в беспокойство ее мужа — моего приятеля. Потом дама плачет и зябнет, муж ее заботливо кутает в платок. Ландау продолжает острить и куралесить, мы теряем чувство возрастных различий. В три часа ночи я очутился за столом рядом с ним, он рассказывает о популярной книжке по физике, которую задумал вместе с Китайгородским. Я начинаю расспрашивать его о Большом Взрыве — начале Вселенной. Он с увлечением объясняет мне, почему до этого Взрыва о времени говорить нельзя, соответствующая часть в уравнениях не имеет смысла. Пирушка кончается. Нам с Ландау по пути, мы в одной машине. Он возвращается к своему обычному шутливому тону, как будто мы долго с ним не говорили об уравнениях Эйнштейна. На людях он надо мной подшучивает: «Я так и не понял. Вы подкаблучник или нет?»...

Из лагеря вернулся друг Ландау Румер. Он поселился в Новосибирске. Приехав по делам в Москву, он захотел со мной встретиться. Румер, как и вся его семья, знал много языков. На меня он набросился с вопросами долго отсутствовавшего, изголодавшегося по новостям: «Вы занимаетесь хеттским языком. Что в нем все перфекты редуплицированные?» Осмысленность этого вопроса я понял позже, занимаясь предысторией хеттского глагола.

Румер был полон историй о Ландау. Вот одна из них. Бор приезжает в Москву. Сооираются все известные физики, среди них и Ландау. Бор увлеченно с ним разговаривает. Ландау куда-то вышел. Бор задумчиво обращается к окружающим: «Какой замечательный физик! И он здесь совершенно один!»

В те годы, когда молодой Ландау работал у Бора, Румером заинтересовался Эйнштейн. Ему нравилась румеровская идея оптики пяти измерений (кто знает, как далеко бы продвинулся Румер по этому нехоженому пути: лучшие годы у него ушли на

тюрьмы, из которых Капица, написавший Сталину, вызволил Ландау). Румер рассказывал о своих беседах с Эйнштейном о «пяти-оптике». Эйнштейн надеялся найти в нем сотрудника по тем работам по большому объединению, к которому вернулись недавно (Грину и Шварцу понадобилось для этого 10 измерений в их теории сверхструн и супергравитацйи; самый решительный шаг по созданию математического аппарата объединения сделан за последний год).

Ю. И. Манин и другие физики и математики, с которыми я дружил на рубеже 1970-х и 1980-х годов, были увлечены тогда вновь оживившимся интересом К этим фундаментальным проблемам. Я много с ними об этом разговаривал и что-то читал из обзорных статей. Поэтому я оказался подготовлен к подробным обсуждениям современной космологии и космогонии с А. Д. Сахаровым. Это было в Сухуми в начале осени 1979 г. Мы с моей женой Светланой там отдыхали вместе с ее родителями — Раей Орловой и Львом Копелевым. Оказалось, что Сахаров с женой Е. Г. Боннэр живут там же в гостинице «Абхазия». Мы стали проводить вместе послеобеденное время (до обеда Сахаров работал, он писал статью на космогоническую тему). Мы вместе гуляли по Сухуми и обязательно ходили в кино. Сахаров был страстным его любителем. Раз по приглашению Славы Ардзинба, тогда моего ученика по хеттологии (и будущего предводителя абхазского национального движения), мы все вшестером были в абхазском селе на свадьбе. Из того, что нам вместе удалось тогда повидать, на Сахарова особенно сильное впечатление произвели кромлехи в Эшерах. Там возле школы нашли стоявшие кругом каменные столбики, видимо, служившие как древняя обсерватория. Мне потом довелось видеть такие мегалитические раннеастрономические сооружения в других местах Абхазии (между Гагрой и Гудаутами), в Англии (знаменитый Стоунхендж) и в Бретани. Эшерские кромлехи поразили Сахарова как ранний памятник человеческого интеллекта Он просил меня внушить местным ученым, что это должно быть отражено в надписи возле кромлехов.

На улицах Сухуми он подробно излагал мне современное состояние физики элементарных частиц и космогонии. Другие участники нашей компании захотели узнать, о чем мы с ним столько говорим Тогда он прочитал для нас шестерых две лекции (конец одной из них был посвящен сверхгравитации, он предвидел главный путь новых открытий). Моя жена записала их на магнитофон. Из Сухуми мы с женой ехали в Тбилиси встретиться с Якобсоном. Я дал ему послушать лекцию Сахарова об истории физики микромира. Якобсон заметил, что если

заменить термины (различительные признаки фонем вместо частиц), можно было бы подумать, что это — история фонологии. Обсуждая с Якобсоном лекцию Сахарова, я реально ощущал не только единство знания, но и объединенность нас всех познающих. В Сухуми я сделал такую стихотворную зарисовку с натуры, обращенную к Сахарову (Е. Г. Боннэр и ему она понравилась, какие-то строки он потом повторил друзьям):

Реликтовое излучение
Обдумываете у берега.
Быть может, в этом — излечение
Эпохи, чья болезнь — истерика.

Сквозь Вас доходит свет реликтовый,
А мир ершится да щетинится,
Как лес раздетый эвкалиптовый.
Топорщащийся у гостиницы.

Когда Сахаров был в ссылке в Горьком, он продолжал заниматься теми проблемами, о которых говорил с нами в Сухуми. Капица мне рассказывал, почему три статьи Сахарова на эти космогонические темы так быстро были напечатаны. Получив их из Горького от Сахарова, Капица немедленно писал: «В набор...» Все были уверены, что Капица с кем-то согласовал эти публикации, а он и не думал никого спрашивать.

Узнав о появлении статьи Сахарова, я шел в профессорский зал Ленинской библиотеки, доставал там с полки свежий номер «Журнала экспериментальной и теоретической физики» (его редактором и был Капица) и погружался в чтение. Меня особенно волновал «антропный (или: антропологический) принцип». Сахаров считал, что его впервые открыл еще в 1917 (!) году великий немецко-русский физик Эренфест (он покончил с собой в начале гитлеровско-сталинского времени, подавленный ситуацией двух стран, с которыми был связан). Но сейчас о нем все знают благодаря изумительной популярной книге Хокинга. В ней изложены сильная и слабая формы принципа. Согласно одной из них, наблюдатель может воспринять тот из потенциальных миров, который своим развитием (начиная с момента возникновения) сделал возможным существование наблюдателя. Я согласен с Вацлавом Гавлом, который в одном из последних выступлений говорит об этом принципе как об основе миросозерцания современного человека. Если Вселенная изначально задумана как включающая своего будущего наблюдателя — человека, едва ли нам должны быть всерьез страшны случайности вроде торговли плутонием (хотя как раз атомный шантаж со стороны террористов и был одной из будущих опасностей, от которых предостерегал Сахаров).

Сахаровский взгляд на историю мира не бездумно оптимистичен. Он допускал циклическое возникновение и уничтожение не только физической Вселенной, но и «информационных процессов», как сказано в одной из его статей времени горьковской ссылки. Правда, когда я в письме к нему в Горький, а потом при первой встрече после его возвращения из Горького пытался что-то сказать о своем (возможно и ошибочном) предположении о регрессе к шимпанзе и гориллам от первоначального человека после ядерного взрыва (древней локальной ядерной войны?) в Африке, он не захотел обсуждать эту мрачную фантазию. Но его занимали не только начала циклически возникающих Вселенных, но и их концы. Я снова об этом думал, работая над докладом о символике Апокалипсиса для конференции, состоявшейся в августе 1994 года в замке де ла

Бретеш в Бретани. В древнем новгородском переводе Апокалипсиса Бог говорит о себе: «Аз есмь альфа и омега, начаток и конец». В трех статьях горьковского времени изложен Апокалипсис по Сахарову. И он сделал это в конце очередного витка русской трагической истории. Хочется думать, что его имя не только в конце того цикла, но и в начале следующего.

Из своих недавних занятий Апокалипсисом я вынес впечатление, что только в последние десятилетия пишущие о нем сосредоточены на уничтожении. В Средние века гораздо больше думали о Новом Иерусалиме, о том, что будет потом, после выхода из обычной истории в метаисторию. Оттого так празднично радостны гобелены Анжера, воссоздавшие образы Откровения Иоанна. В нашем веке ближе всего к этому был Скрябин в своей «Мистерии», которой в том же 1917 (!) году он хотел завершить историю мира и выйти за ее пределы. Он умер от фурункула за два года до поставленного им срока. Но по его наброскам музыка «Предварительного действа» к «Мистерии» была недавно восстановлена композитором Немгиным. Я дважды читал об этом доклад: в музее Глинки и в литовском доме композиторов для Ландсбергиса и других музыковедов.

Мне давно уже кажется, что человечество придет к новой религии. Вопрос только в том, удастся ли этим предотвратить катастрофу или она понадобится, чтобы люди образумились и восприняли новые формулировки старых истин (так в последнюю нашу встречу эту задачу формулировал Генрих Белль).

ПОЛИТИК И ДИПЛОМАТ

22

Среди детских мечтаний было одно, едва ли прямо совместимое с грезами о науке, экспедициях, открытиях, стихах: я хотел также стать дипломатом. Скорее всего, сказались многократные разговоры с отцом о текущих делах в мире. Мы с ним вместе остро переживали гитлеровскую оккупацию Чехословакии, готовящуюся мировую войну. О ней я узнал очень рано: я внимательно изучил две книги Эрнста Генри о планах Гитлера в отношении СССР и Западной Европы, где есть и карты, совпадающие со стрелками реального движения нацистских армий спустя столько лет после того, как этому блестящему конспиратору (ускользнувшему от Гестапо, но не от НКВД) и журналисту удалось раскрыть планы вермахта — но его никто (кроме Эйнштейна, считавшего, что книги надо издавать миллионными тиражами) не услышал, в истинность открытой им опасности никто не поверил. Я познакомился с Эрнстом Генри

после того, как, вернувшись из лагеря и получив условные знаки признания — премии от власти, он помог собирать подписи влиятельных людей под письмами, протестующими против попытки реабилитировать Сталина (с ним вместе этим занимался Сахаров, приходивший к Колмогорову, тот мне об этом рассказывал). В то время советами Эрнста Генри пользовался Капица, с которым я часто обсуждал политические проблемы. Когда в очередной раз пытались снять Твардовского с поста главного редактора «Нового мира», Капица вместе с академиком-востоковедом Конрадом вызвались подписать письмо с протестом. Петр Леонидович Капица просил меня уточнить с Эрнстом Генри желательный текст письма. В том единственном нашем разговоре автор двух повлиявших на меня книг мне не понравился. Он был погружен в мелкие подробности придворных интриг, как большинство наших политиков в то время (да и много позже).

К изучению политической ситуации в мире я отнесся с педантизмом начинающего ученого. Мне было девять лет (это было лето 1938-го года). Мне подарили маленькую книжку для адресов и телефонов. Я по алфавиту записывал сведения: Германия — фашистская диктатура, диктатор — Гитлер; СССР — диктатура, диктатор — Сталин, Калинин — фиктивный президент. Книжку я держал в ящике столика, на котором у нас на даче в столовой стояло радио. Я регулярно слушал последние известия и многие другие передачи, слушал и голос Гитлера (поэтому сразу же оценил сходство модуляций с голосом Жириновского, который я услышал, когда по непонятным причинам он оказался приглашенным на наш последний съезд народных депутатов СССР после августовского путча и стал митинговать в холле, собрав толпу вокруг себя). Чтобы лучше соотносить записи в книжке с новостями, я держал ее рядом с радио. Там ее нашла мама. Она вышла со мной в сад. Она мне не говорила, что я неправ (хотя в те годы на людях часто превозносила Сталина). Она сказала только, что мои записи очень опасны, я мог подвести всю семью. Страницу с записью об СССР из книжки вырвали.

Меня удивляло, что взрослые мало знают о происходящем. Несколько пришедших к нам в гости писателей, в том числе Федин, от меня с удивлением узнали об аншлюссе — присоединении Австрии к гитлеровской Германии. Правда, в оправдание их можно добавить, что о некоторых важных событиях из газет трудно было узнать — о них упоминалось между прочим, в придаточных предложениях или только в некоторых, не самых распространенных органах печати.

У нас с отцом появился очень точный источник информации.

В поездке по Финляндии и странам Прибалтики отец познакомился с Борисом Даниловичем Михайловым, тогда заведующим иностранным отделом «Известий», а до того — видным агентом Коминтерна, одним из создателей Коммунистической партии Индии. Он редактировал перед войной журнал на французском языке, выходивший в Москве, а после войны — русскую просоветскую эмигрантскую газету, издававшуюся в Париже. Его расстреляли после начала новых арестов примерно в 1949 году, до этого он в доме одного подозрительного чиновника публично поссорился с моей мамой, думаю, намеренно. У нас перед войной он бывал часто, иногда каждую неделю. Отец звал меня к себе, и Михайлов, достав записную книжку, рассказывал нам подробно обо всем, что он услышал о новейших событиях по радио (он знал в совершенстве много языков, выдавал себя за португальца в Индии, где какой-то раджа посадил его в бамбуковую клетку и велел пытать, на лице у него были шрамы). Для чего он считал нужным сообщать моему отцу и еще нескольким писателям об истинном положении дел в мире? Надеялся ли он повлиять на ход событий? От Ирины Сергеевны Асмус, первой жены философа, я знал, что во время войны он приходил к ним в полной мрачности, не надеясь ни на что хорошее в будущем (это было уже после Сталинграда и перелома в войне, первый год которой он провел на фронте). Мне он загадочен. В университете он входил в ту же компанию, что и Тынянов и Зильбер, будущий замечательный вирусолог и предвестник современной вирусной теории происхождения рака (я знал Зильбера, брата Каверина, когда он вернулся из своих многочисленных лагерей и тюрем, где он и пришел к этой теории). Во время первой мировой войны Михайлов воевал в Персии, рассказывал, как от жажды спасались и пили свою мочу, на мое детское воображение рассказ действовал даже больше, чем его повесть о рабочем слоне в Индии, покупавшем себе за рупию зеленый корм в лавке во время обеденного перерыва.

Среди моих предвоенных записей был «Дневник политика и дипломата», в котором я подводил итоги минувшего года. Я читал много книг о дипломатии, которые начали тогда выходить. Меня занимали вопросы, сейчас называющиеся геополитическими, в особенности касающиеся Востока.

В университетские годы нарастало неприятие режима, исключавшее и карьеру- дипломата, о которой в школе я еще подумывал иногда. Я писал все больше откровенно опасных политических стихов. Напряжение отталкивания от властей было особенно сильным во время дела врачей. Смерть Сталина была благом, на которое я откликнулся стихами:

Я не принадлежал к числу его
Поклонников, скучал, его читая,
И до сих пор не знаю, отчего
В него поверила страна родная.

Толпой обманутой обожествлен,
Он правил вероломно и жестоко,
Как хитрый кровожадный фараон,
Как хищный деспот Древнего Востока.

Но хоронили мумию вчера,
Которую не мог бы тронуть даже
Внезапный переход всего двора
На новую стезю подхалимажа,

Которую не могут потрясти
Людские бескорыстные рыданья,
Которая уже на полпути
К прямому превращению в преданье.

Наутро выпал снег, и вот венки
Кругом лежат мороженым фруктовым.
Тот не погибнет от его руки,
Помянет кто его недобрым словом.

Поэтому-то нет охоты мне,
Хулить его, когда он безоружен.
История рассудит нас вполне,
А реквием ему уже не нужен.

23

Начались годы напряженного вглядывания в наше будущее, которое решалось тогда не нами. Я с детства изучал технику чтения между строк, сопоставления кусков из разных обрывков газетных сообщений. Другое дело, что ребенком я уже узнал, что трудно убедить взрослых в правильности логических выводов. За несколько дней до начала войны с Гитлером к нам на дачу в Переделкине пришло несколько знакомых, среди них критик Гурвич, живший в Доме отдыха писателей в Переделкине. Говорили о неясности политической ситуаций и об опровержении ТАСС (это всегда надо было понимать в обратном смысле по Оруэллу, которого тогда мы еще не знали, конечно). Я с мальчишеской запальчивостью и важностью, делавшей смешными

мои разговоры со старшими, убеждал их, что война вот-вот начнется. Мне не верили. В день, когда из речи Молотова по радио мы узнали о нападении Гитлера, к нам на дачу пришел Федин. Он попросил меня сходить на соседнюю дачу к Пастернакам, у которых сидела его жена Дора Сергеевна, и передать ей, что Москву немцы бомбить не будут. На это я ему возразил: будут обязательно. Он вместо спора со мной повторил свою просьбу. Я это передал ей от его имени, про себя удивляясь тому, как люди обманывают себя и других. С Фединым и бомбами связано и воспоминание конца войны. Я его увидел на поле возле нашей сожженной дачи после того, как узнал о взрыве первой атомной бомбы над Японией. Я пытался объяснить ему, как это важно и страшно. Он меня выслушал и сказал: «Да, а нас заставляют играть в бирюльки!» Но ведь это высказывание нисколько не помешало ему продолжать играть в бирюльки и тогда, и потом. В замечательном документальном фильме Ленцмана «Шоах» меня поразил рассказ польского дипломата, тщетно пытавшегося убедить союзников что-то сделать, чтобы предупредить или остановить готовящуюся расправу с варшавским гетто. По прошествии стольких лет он плакал, вспоминая о своем бессилии. Всякого, кому не безразлична судьба людей и человечества, ощущения этого рода не могут покидать. Но мы обязаны быть трезвыми, не пугаться, но и не прятаться от правды о будущем, узнать которое в сущности не так трудно.

Слухи, и часто очень достоверные, ходили всегда. Я со смехом читаю в истории отечественной войны о той строжайшей секретности, в обстановке которой готовилось Курско-Орловское сражение. Мы к тому времени вернулись из эвакуации, я ездил по Москве в трамваях, где все время шли разговоры о том, какой будет бой под Орлом и Курском и сколько туда пойдет наших танков. Если вы хотите знать наше будущее, идите на улицу и говорите с людьми.

После смерти Сталина я стал более общителен и много узнавал. Остальное доделывала за меня моя фантазия. В Библии про «всякую плоть», на которую воздействует Дух, сказано, что после этого у молодых людей бывают «видения». За четыре года от 1953 до 1957, когда я был внутренне сосредоточен на новостях о наступающих переменах, я видел три вещих сна, каждый раз для меня неожиданных. Они сбывались вскоре после того, как я их видел. В первом снимали Берию, и был взрыв (наяву опытный) огромной бомбы (наяву водородной). Во втором от власти отстраняли Молотова. В третьем, наиболее для меня самого неожиданном, терпел политическое поражение Жуков, прихода

которого к власти я ожидал после его речи, где он говорил о шайке, десятилетиями правившей страной: шайка с ним расправилась. Механизм бессознательной переработки информации, накопленной днем, неясен. Колмогоров мне говорил, что он просыпался утром с теоремой, о возможном доказательстве которой размышлял накануне. Весной 1977 г. просыпаясь я услышал: «Этот режим должен погибнуть!» Я стал про себя ругаться: эти интеллигенты всегда хотят, чтобы было так как им бы казалось нужным. Потом я спохватился: а с кем я, собственно, спорю? Я в комнате один, Светлана давно ушла на работу. Дальнейшие верные предсказания уже в новую пору можно было делать более надежно не во сне или в полусне. Своему другу Роберту Кайзеру, когда-то работавшему корреспондентом «Вашингтон пост» в Москве, а теперь одному из редакторов этой газеты, я сказал в 1984 г, что Горбачев придет к власти и начнет реформы. Ему же и многим другим я заранее говорил о вероятности августовского провалившегося путча, но я теперь надеюсь, что все время маячившая угроза военного переворота не станет такой реальностью, которую надо будет вносить в список верных предвидений. Но в еще большей степени, чем в детстве, я стал видеть трудность, а иногда и невозможность убедить других в очевидном. Во время второго съезда народных депутатов в декабре 1989 г. нескольким депутатам была ясна двусмысленность позиции тогдашнего военного министра Язова, намекавшая уже на то, что он сделал в августе 19 91 г. Мы не только обсуждали это друг с другом, но и пытались предупредить Горбачева. Но он не обратил на это внимания или счел себя лучшим игроком. В ту же осень меня пригласили выступить в Париже в клубе писателей с рассказом о том, что у нас происходит. Мое описание готовящегося распада Союза присутствовавшие восприняли как фантазию, некоторых левых обозлившую. Несколькими месяцами позже во время моих лекций в Киле Копелева вместе со Светланой и со мной пригласила на торжество по случаю своего восьмидесятилетия знакомая мне еще по ее дружеским приездам в Москву графиня фон Денхоф, одна из основателей и главных сотрудников «Ди Цайт». На юбилейный прием, устроенный редакцией этой газеты в цехе одного из гамбургских заводов, собрались многие известные политические деятели из разных стран (там я познакомился с поразившим меня веселостью и остроумием Михником, которым мы всегда восхищались с начала «Солидарности»). К нашему столику подошел и заговорил со мной очень интересовавшийся ситуацией в России человек, которого я сразу не узнал. Это был Киссенджер. Его беспокоила возможность повторения расстановки сил как в

начале второй мировой войны (берлинская стена рушилась), и он хотел поговорить с советскими депутатами (тех из нас, кого он не увидел на приеме, он в ту ночь разбудил, чтобы поделиться своими волнениями). Но когда я стал ему объяснять, какие перемены происходят в республиках, особенно в Средней Азии, он заметил, что мои политические взгляды очень своеобразны, и от меня отошел: при различии политической ориентации он был схож с моими левыми французскими слушателями нежеланием услышать о том, что не укладывается в его схему.

Нечто похожее я наблюдал и на круглом столе о ситуации в республиках бывшего Союза, куда меня пригласили в январе 1994 г. В замке Дичли возле Оксфорда (где Черчилль устраивал совещания в годы войны) собрались бывшие послы и министры иностранных дел вместе с «советологами», или «кремленологами», и несколькими политическими деятелями, учеными и деловыми людьми из России и бывших союзных республик. Приехавшим из России было очень нелегко пробиться сквозь множество предрассудков и заблуждений, из которых сотканы устоявшиеся убеждения многих, чьи советы определяют внешнюю политику западных стран по отношению к нашей стране. Одним из главных их недостатков мне кажется недостаточное знание русского прошлого, изучение которого часто позволяет делать правильные прогнозы из-за того, что в России развитие часто идет по спирали: как заметил еще Чаадаев, у нас слишком много пространства и нет времени, наш хронотоп устроен так, что география не дает возможности осуществиться истории и многое уже происходившее повторяется снова.

В годы до и во время хрущевской оттепели, пока я видел вещие сны и обсуждал политику со Слуцким и другими друзьями, не меньше меня ею болевшими, я был занят перечисленными выше научными и поэтическими замыслами. Политика имела к ним лишь косвенное отношение. Исключение составляет только подробное исследование хеттского парламента и его сложных отношений с хеттским царем (это было почти четыре тысячи лет назад). Я как бы готовился к пониманию универсальности тех конфликтов, с которыми мы столкнулись в самые последние годы. Я об этом рассказывал Г. Попову, когда мы ранним утром встретились у Кремлевского дворца съездов, куда пришли депутатами от Академии наук на первый съезд. Я и теперь думаю, что история должна быть прикладной наукой, ее уроки необходимо знать. Когда в 1984 г. было принято безумное и невероятно опасное постановление о повороте рек нашего Севера, я вызвался доказать его абсурдность на материале многих мной изучавшихся древних и средневековых обществ, погибших из-за

разрушения систем водоснабжения. Юрий Николаевич Афанасьев согласился попробовать напечатать мою статью об этом в «Коммунисте», отделом истории которого он тогда заведовал. Некоторые мои формулировки, касавшиеся использования рабов и заключенных на «великих стройках» этого типа вызвали беспокойство даже у него (как-то он мне позвонил поздно вечером по этому поводу). Но все же благодаря его настойчивости вся редколлегия, прочитав статью, ее одобрила. Тем не менее решение о публикации зависело от ЦК, которое так и не дало согласия. Когда начались реформы, сразу не коснувшиеся решения о повороте рек (проектные работы, стоившие очень дорого, продолжались еще несколько лет), А. Стреляный хотел напечатать расширенный текст моей статьи в «Новом мире», но включению ее в очередной номер воспротивился Залыгин, хотя он сам и вел в значительно более осторожной форме полемику с проектом поворота рек. Только спустя четыре года после написания статья увидела свет в сборнике «Пути в незнаемое», куда ее предложил поместить покойный Алесь Адамович.

Число цензурных трудностей, с которыми я сталкивался в канун реформ и даже в первый их год, было особенно большим. Главный редактор издательства «Книга» написал мне письмо по поводу приготовленного мной сборника переводов и стихов востоковеда и поэта Шилейко. Его пугали упоминания Бога в моей вступительной статье. Он мне сообщал, что это слово теперь изгоняется даже из текстов Лермонтова, что уж тут говорить о Шилейко! В издательстве (переименованном чиновниками в «Главную редакцию») восточной литературы было задержано, а потом покалечено уже набранное мое послесловие к сборнику стихов европейских поэтов о Востоке: директора пугали мои похвалы Киплингу, цитаты из Владимира Соловьева и многое другое. Особенно примечательным был отказ издательства «Советское радио» от переиздания давно разошедшейся книги «Чет и нечет». На мою рукопись, специально переработанную для этого переиздания (до сих пор этот более полный текст издан только в Латвии по-латышски), было написано два официальных отзыва в жанре политического доноса (один из них был подписан академиком Фроловым, который при встречах всегда очень приязненно обо мне отзывался).

Эти цензурные трудности отражали гнусность времени после начала афганской войны и ссылки Сахарова. Наша семья знала о слежке, связанной и с тем, что родители моей жены Светланы были лишены Брежневым советского подданства после того, как они уехали в Западную Германию по приглашению Генриха Белля.

Во мне нарастало чувство полной несовместимости с режимом. Мрачность настроения усиливали занятия нашим недавним прошлым. Я пытался издать сочинения некоторых из погибших во время террора (как Флоренский), это становилось все Труднее. В 1960-е годы на меня большое впечатление произвело чтение А. И. Солженицына и некоторых других самиздатовских авторов (таких, как Шаламов). Меня с Солженицыным познакомил его друг по шарашке Л. З. Копелев. Мы с ним сблизились. Я ездил к нему в Рязань, чтобы прочитать и обсудить с ним рукопись «В круге первом». Потом я был «первочитателем» (его термин) многих его вещей. Он давал мне беловую перепечатанную рукопись «Архипелага» и воспользовался моей помощью в нескольких местах, включив мой текст (например, о том же П. А. Флоренском, но и о некоторых других побывавших в ГУЛАГе, как жившая после возвращения из него в нашем доме М. И. Эджубова, едва не расстрелянная после отказа следить за своим опекуном — крупным инженером). Часть моего письма о его «Августе 1914» была под псевдонимом издана в сборнике суждений его русских читателей. К. И. Чуковский пригласил меня к себе на завтрак, во время которого Солженицын нам рассказывал о своей схватке с бюрократической верхушкой Союза Писателей. К своей обычной веселости (как-то он мне сказал: «Я и в тюрьме сидел весело») он добавлял еще и особую порцию оптимизма, рассчитанную на то, чтобы не огорчить хозяина дома. Другой раз, когда Солженицын жил на даче у Чуковских, я к нему наведывался. Он порадовал меня своим определением того, что такое интеллигент («тот, кто непрерывно перерабатывает»...): тогда он еще не заразился интеллигентобоязнью. С Александром Исаевичем мы обсуждали тогда и его (отчасти сбывшиеся, хоть и с опозданием) надежды на будущее, и его взгляды на религию (тогда еще скептические) и науку (я написал ему длинное письмо о «Свече на ветру», частично прицитированное в окончательном тексте солженицынской пьесы). Один наш разговор (о том, что судьбу можно дешифровать как сообщение, наделенное смыслом) он упомянул в первом издании «Теленка», назвав мое имя, что по тем временам было неосторожно, но мне польстило. Меня поражало, как Солженицын умеет построить свою судьбу: к Нобелевской премии и ее последствиям он был готов задолго до того, как Нобелевский комитет задумался о его кандидатуре, а потом очень тщательно был продуман во всех подробностях несостоявшийся прием по случаю ее вручения. Я получил стратегический план расстановки сил, как недостаточно почетный гость я должен был постоять (автор проекта знал, что

мне это будет трудно, но при всем своем аввакумовом бунтарстве придерживался традиционной российской табели о рангах).

24

Я всегда надеялся на возможность повлиять на ход событий, а не только их предсказать. Бурлившее во мне желание добиваться социальных усовершенствований в годы хрущевской оттепели выражалось в бездне письменных научно-организационных проектов. Чего только я не напредлагал в письмах в высокие адреса, часть которых по моему наущению подписывал Берг, любивший играть в такие игры и часто с успехом, у него замыслы всегда были крупномасштабные: подавай ему новое министерство или новую науку! Друзья надо мной подшучивали, что потом историки займутся моими челобитными, станут изучать меня как нового Ивашку Пересветова. Я писал в Новосибирск в Сибирское отделение Академии наук, куда одно время хотел перебраться, о желательности там Центра по изучению туземных языков. Часть таких планов, шедших к властям за подписью Берга, в Москве и в Ленинграде осуществились. Этот зуд писания проектов стал ослабевать к концу оттепели. Общественный темперамент стал выражаться напрямую.

Первым знаком перемен после снятия Хрущева для меня послужил арест Синявского (с которым я был знаком и чьи литературоведческие работы хорошо знал) и Даниэля (его я знал шапочно). Я принял в их судьбе посильное участие. Осенью 1965 года я написал письмо тогдашнему премьеру Косыгину с протестом против ареста Синявского, в котором находил угрозу возврата к прежним временам. Я участвовал в демонстрации против ареста Даниэля и Синявского в День Конституции в начале декабря, которую организовал Алик Есенин-Волышн. Почти ежедневно я встречался с женами двух арестованных и занимался поисками адвокатов для них, что и по тем временам оказалось делом нелегким: одни адвокаты боялись, у других не было требуемого «допуска» для ведения таких дел.

Для помощи обвинению придумали назначить одну литературную даму общественным обвинителем. Я отнес в канцелярию председателя Верховного Суда РСФСР Смирнова, который должен был вести процесс, просьбу сделать меня общественным защитником. Канцелярия помещалась недалеко от Красной площади, и идти оттуда пешком через мост до Лаврушинского было не больше получаса. Когда я пришел домой, брат сказал мне, что от Смирнова звонили: он хочет меня видеть (я оценил его проворство: относя бумагу, я узнал, насколько нелегко попасть к нему на прием, мне сказали, что обычно ждут

месяцами). Рабочий день уже кончился, и я попал к Смирнову на следующее утро. Обычная театральность, часто сопутствующая юридическим должностным лицам, была утрирована. Смирнов играл роль либерального судьи на европейский лад. Он был обложен толстенными фолиантами с закладками, приготовленными для нашего разговора. После очень любезного вступления он стал мне объяснять, почему я не могу выступить общественным защитником Синявского. Он обрушил на меня множество цитат из книг с закладками. Выходило, что в этом качестве меня должно было бы утвердить какое-нибудь советское учреждение, без этого Смирнов не может допустить меня к участию в суде. Он осведомился, как я хотел бы вести защиту. Я воспользовался случаем и изложил ему суть своих доводов против обвинения (я потом их развил в ответе на запрос адвоката-защитника Синявского, попросившего моей экспертизы). То, что находят криминальным, Синявский говорит не сам. Судить можно только его героев. Нужно уметь отделять автора от персонажей его сочинений, нельзя ему приписывать их мнения. Для этого нужно разбираться в литературном приеме, называемом «сказ». Смирнов стал заверять меня, что литературную сторону таких оценок он может взять на себя. Он был когда-то в одном литературном кружке с Н. К. Чуковским (писателем, сыном К. И. Чуковского). Он достаточно знает и понимает литературу. Разумеется, все эти разговоры были для видимости. На суде Смирнов не был таким интеллигентным европейцем, как в беседе со мной. После суда, вынесшего суровый приговор двум авторам за их книги, состоялась встреча писателей со Смирновым. Я на ней был. Зал Дома литераторов был набит битком. Среди других язвительных вопросов была и записка о причине отсутствия на суде общественного защитника. Смирнов пробовал оправдаться и пересказал вкратце наш с ним разговор, обозначив меня как одного очень уважаемого им человека.

После суда я участвовал в организации писем в защиту Синявского и Даниэля и протестов против приговора. Такие письма с протестами, одиночные и коллективные, мы писали, собирая подписи среди людей своего круга, на протяжении следующего десятилетия, ознаменовавшегося усилением политических репрессий. Нас называли «подписантами». Нас преследовали и наказывали, но каждого в разной степени. Меня не пускали за границу, но я продолжал работать, хотя и не вполне легально: я занимал 17 лет конкурсную должность заведующего Сектором, но в обход закона меня на нее не переизбрали. Для того, чтобы пройти конкурс снова, я должен был бы представить характеристику за подписями треугольника, удостоверяющую

мою благонадежность. Этого институтское начальство, периодически вызывавшее меня для политических головомоек, делать не хотело. Но делали вид, что сойдет и так. И сходило. Как говорил Д. Самойлов, в России главная наука — «щелеведение», умение обходить правила. А попросту беззаконие.

Сотрудники Института и особенно нашего Сектора, подписавшие вместе со мной письма с протестами против политических приговоров, подвергались преследованиям более заметным. Тем, у кого не было степеней, не давали защитить уже готовые диссертации, а значит, и продолжали платить мизерную зарплату. Одна из сотрудниц Сектора, попавшая в такую ситуацию, сошла с ума, была завербована КГБ и писала на всех нас доносы совершенно фантастического содержания. Это не мешало вызывать многих для допросов на основании ее сообщений о том, что, например, на праздновании дня рождения в доме одного из коллег по Институту иностранка (по профессии зубной врач) пыталась за тысячу долларов купить у нее кандидатскую диссертацию по лингвистике (ту самую, которую ей не давали защитить как подпи- сантке, пока она не покаялась и не стала служить госбезопасности). Несчастная доносчица однажды перепугала так называемого начальника Отдела кадров — представителя КГБ в Институте, участвовавшего в ее вербовке. Она в припадке безумия боялась выйти из его кабинета. В отчаянии бывший бравый офицер вызвал скорую помощь. Когда происходило сокращение штатов в Институте, я предлагал ее уволить как давно уже не работающую. Директор с жаром отстаивал ее, признавая ценность ее вклада в деятельность Института.

Когда я в очередной раз говорил о необходимости дать возможность защитить кандидатскую диссертацию Д. М. Сегалу (он так и не дождался разрешения на защиту, уехал в Израиль и там заведует кафедрой) с тогдашним секретарем партбюро В. К. Волковым (после начала реформ избранным директором нашего Институга), тот ответил мне потоком остроумных метафор вроде: «У нас разрешен поворот только направо» и т. д.

Я уже говорил о том, что в писательской среде цинизм был заметен еще в довоенное время. В 1970-е — 1980-е годы он, а вовсе не марксизм, стал господствующей идеологией (она и потерпела поражение в холодной войне). А в той мере, в какой вся номенклатура (до реформы имевшая только бюрократическую власть, а потом приобретшая еще и банковский капитал и научившаяся заведовать распределением фондов) была этой идеологией пронизана, цинизм и остается по инерции господствующим — он проник в верхи общества и там застыл,

делая бывших партийных руководителей истовыми православными и бывших шпионов организаторами съезда эмигрантов.

Еще до начала реформ А. Д. Сахаров мне говорил, что он не понимает, как это представители элиты продолжают хотеть накапливать имущество. Ведь перед смертью о другом надо думать, не о том заботиться.

С Сахаровым (о взглядах которого я еще до его самиздатских текстов узнал от нашего общего друга М. Левина: тот давно мне рассказывал, как Сахаров мучится проблемой последствий ядерных взрывов) я впервые встретился по просьбе П. Л. Капицы в начале 1970-х годов. Оба физика состояли в переписке по политическим вопросам с эстонским правозащитником Эвальдом. Из-за его манифестов против него было возбуждено уголовное дело. Капица, у которого Эвальд просил помощи, поручил мне поговорить с Сахаровым о том, что можно для Эвальда сделать. Мы встретились с ним (он жил тогда еще в старой своей квартире возле курчатовского Института) и обсудили еще много других общественных проблем, волновавших нас обоих, кроме дела Эвальда (которому по просьбе Сахарова и Капицы я нашел адвоката, о чем сообщил ему по телефону, позвонив на службу: он не был арестован и не был уволен с работы, что для находившихся под политическим следствием в России было необычным в то время). Пока я сидел у Сахарова, ему позвонили по поводу других политических процессов, на один из которых он собирался идти следующим утром, он был уже вовлечен полностью в правозащитную деятельность. Я не раз потом тревожил Андрея Дмитриевича по таким делам. Он безотказно выступал в роли скорой помощи после арестов или увольнений по причинам, которые были не только политическими, но иногда и религиозными. По моей просьбе он писал протест против вторичного ареста Дандарона — монгольского буддиста, признанного очередным воплощением Будды по определенным приметам. Встреченные мной на буддийском празднике в Забайкалье ламы мне рассказывали, что, попав в сталинское время в один с ним лагерь, они имели возможность обучить его тибетскому языку (священному в северном буддизме), так что из лагеря он вышел уже специалистом в этой области (потом он работал научным сотрудником по исследованию тибетских рукописей, подарил мне свою публикацию с надписью по-тибетски). Его обвинили в организации незаконной буддийской группы и в совершении обрядов в домашней обстановке (тогда это запрещалось законом, среди других мне на это жаловался М. Бахтин: по болезни он не мог ходить в православную церковь, а к

нему домой священник прийти не имел права). Протест Сахарова не помог, второго ареста Дандарон не выдержал и погиб в заключении.

Мы обсуждали с Сахаровым составленный им текст призыва к отмене смертной казни, под которым он собирал подписи (в последние годы мне много пришлось думать на эти темы, работая в комиссии по помилованию, куда меня привлек ее председатель А. И. Приставкин). Его волновал больше нравственный аспект происходящего, чем собственно политический. Он превосходил всех политиков, с которыми имел дело, именно своим выходом за пределы собственно политики как таковой. И в его рассуждениях о Советском Союзе главным было то, как проблемы страны он осмыслил в контексте более общем — всемирном. Мне кажутся очень важными его мысли о мировом правительстве, которые часто даже пылкие его почитатели обходят молчанием. А ведь очевидно, что за расцветом национального безумия, в том числе и русского, которое пришлось на конец века, последует необходимое решение общих проблем. Все они давно переросли границы не только наций, но и больших многонациональных государств. Мы много говорили об этом с Капицей, который был под большим впечатлением работ Римского клуба, доказывавшего, что экологические и демографические трудности вместе с опасностью ядерного заражения и исчерпания минеральных ресурсов могут поставить существование всего человечества под **угрозу** уже в первой половине наступающего столетия. Капица пытался еще двадцать пять лет назад обратить на это внимание наших властей и нашей общественности. Мне тогда же случалось убедиться, что большинству наших правозащитников эта проблематика была чужда Об этом мало думают и сейчас, когда разбазаривание ресурсов в нашей стране стало особенно ощутимым, как и другие опасности, от которых предостерегал Римский клуб. Спасение человечества как вида, биологически необходимое и потому неминуемое, может быть достигнуто только тогда, когда все основные вопросы, включая экономические, будут регулироваться во всемирном масштабе. Это исподволь уже начинает происходить, несмотря на все неумное сопротивление одних и еще менее понятное равнодушие других. Я должен, правда, сказать, что, побывав впервые в октябре 1994 г. в Словении на семинаре Организации Объединенных Наций возле Бледа (там мы готовили предложения для будущей встречи в верхах всех стран в Копенгагене в марте 1995 г.), я понял, как трудно работать этой организации, пока объединяющей не столько нации, сколько их правительства. И тем не менее Даг Хаммаршельд (бывший и одаренным поэтом) и

У Тан показали, что ООН не бессильна. Сахаров в его всемирном масштабе размышлений и здесь был выше подавляющего большинства своих современников.

Я думаю, что одна из разгадок его личности, закрытой даже от близких людей, была в его скрытой религиозности особого рода. Когда он кончил вторую из своих сухумских лекций, Люся Боннэр спросила его: «Андрей, а ты ничего не говорил о Боге, где его место на этой картине?» Он ответил: «Бог — это такое большое, разве можно о Нем говорить по поводу таких сравнительно малозначительных вещей, как пространство и время?» Подробнее о своем отношении к религии Сахаров говорил во время нашей многочасовой беседы с Н. Берберовой в редакции «Литературной газеты» осенью 1989-го года за два месяца до его смерти. Я знал всего лишь несколько человек, отношение которых к религии определялось не формальными правилами церкви и вероисповедания, а всем их внутренним миром и поведением. К их числу вместе с Пастернаком и Генрихом Беллем я отношу и Сахарова.

25

Я давно задумывался о ходе нашей истории и дал себе слово, что, когда начнутся существенные перемены, я не откажусь от участия в политических событиях. Поэтому, когда в самом конце 1988-го года перед очередной поездкой с лекциями в Америку со мной заговорили о выдвижении моей кандидатуры от Академии наук на выборах в народные депутаты СССР, после некоторых колебаний я согласился. Потом я узнал, что Президиум Академии наук вычеркнул из списков кандидатов меня, как и других по прошлым меркам нежелательных кандидатов (Президент Академии перед тем вмешивался и в процедуру избрания членов Академии: меня несколько раз проваливали на академических выборах, тогда под нажимом начальства, как видно из записей разговоров Президента Академии Марчука с будущими избирателями). Сотрудники институтов Академии (как мне говорили, общим числом едва ли не больше миллиона человек) высказались против этих ограничений. Была устроена демонстрация с протестами. Избранные институтами выборщики (выборы были по той непрямой системе, за которую в школьных учебниках раньше ругали царское правительство, впрочем, в других странах я часто встречаю такую систему) провалили многих официальных кандидатов, и наши кандидатуры оппозиционного списка прошли на дополнительных выборах. По числу поданных на этих выборах по институтам Академии голосов я разделил второе и третье место с С. С. Аверинцевым. За

нас проголосовало больше людей, чем за Сахарова, что говорит не о наших достоинствах, а о недостатках системы выборов: Сахарова знали все, в том числе и многие его противники из официальной публики, а нас они знали недостаточно. В мае я вернулся в Москву, прервав свой американский курс лекций, чтобы участвовать в депутатских собраниях перед съездом. Мы встречались в Доме Ученых. Наутро после моего приезда в Москву, когда я первый раз шел на встречу депутатов, меня сразу же стали у входа спрашивать, в каком комитете я хочу работать. Пока я отвечал на вопросы, кто-то тронул меня сзади за плечо. Я обернулся: Сахаров. В это время и позже мы с ним виделись на депутатских встречах ежедневно. Однажды представилось много времени для разговора (он рассказывал мне о заграничных впечатлениях): мы двое из всего московского сообщества депутатов, обычно собиравшегося в помещении Моссовета, не пошли на расширенную партгруппу Съезда, созванную перед его открытием по дурной советской традиции. Примерно час мы просидели вдвоем в пустом зале Моссовета, где одновременно с партгруппой должна была состояться и встреча депутатов-москвичей. Но поскольку, кроме нас двоих, все пошли на партгруппу, мы ждали зря. Наконец за нами из Кремля прислали машину и мы вынуждены были присоединиться к остальным участникам собрания, из партгруппы превращавшегося в подобие съезда, где уже начали критиковать тогдашнего премьера Рыжкова.В дни особенно напряженных обсуждений Сахаров мне звонил вечером, иногда очень поздно. Один звонок был после спора на нашем депутатском предварительном собрании в Доме Ученых. Я настаивал на том, что с правительством надо работать, не повторяя ошибок дореволюционной либеральной интеллигенции, всегда правительству перечившей. Я вместе с некоторыми другими депутатами поехал к Зайкову, пригласившему нас, чтобы проинформировать об очередной катастрофе, из-за кото- рбй Горбачев, на участившиеся несчастья реагировавший с болезненной остротой, отменил заседание съезда. Сахаров к Зайкову не ездил, но вечером позвонил мне узнать, о чем тот говорил. Другой раз он позвонил совсем поздно рассказать о своих переговорах с властями по поводу возможного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, о котором мы все волновались, пытаясь умерить бушевавшие страсти.

Первый и начало второго съезда прошли под знаком Сахарова. С какими-то из его выступлений и порывистых реплик можно было и спорить. Но его облик настоящего интеллигента, бесспорно честного и преданного стране и человечеству и о себе Не заботящегося, давал всему происходившему особое измерение.

Мы не были обычными парламентариями. Мы были участниками всенародного действа. Вся страна следила за нами по телевизору (этой трансляции добилась от Горбачева московская депутатская группа). Главным действующим лицом был Сахаров. Когда зал на него шикал или Горбачев (очень двойственно к нему, да и ко всем нам относившийся) его грубо прерывал, в этих шумных выкриках и окриках крепла значимость Сахарова (за полтора года до того Ельцину была создана слава и харизма, возникшая на глазах при начале гонений на него: всюду в тотдень только о нем и говорили, возникали студенческие митинги и уличные шествия в его защиту — Россия больше не дает гонимых в обиду! Но горе бывшему гонимому, если он потом сам становится гонителем).

На съездах мы были актерами в последнем акте трагедии Сахарова, в финале (самое страшное было до того, в сумасшедшем доме в Горьком, где во время последней голодовки он подвергался настоящим пыткам). Но катарсис переживался — и я думаю, еще будет переживаться — всей страной. Если хотите, евангелический сценарий снова разыгрывался, и отсвет его ложился на нас всех.

После нападения инвалида афганской войны на Сахарова и отвратительной сцены, когда большинство зала на него шикало, я в перерыве подошел к Андрею Дмитриевичу. Он был озабочен только одним: в своем выступлении он не успел сказать всего, что хотел.

Сахарову не дали договорить его последней речи (в частичное оправдание Горбачева надо сказать, что часть депутатов его ругала и за то, что в тот раз он дал Сахарову говорить так долго). Когда я оказался на трибуне первого послесъездовского митинга (вся площадь у Лужников была запружена, и у милиции на всякий случай были Припасены лошади, я их увидел, сидящих в вагончиках, когда уходил), у меня в руках оказался полный текст этого его слова к съезду, я весь этот текст прочитал. Это вышло почти случайно, и это был единственный раз, когда я выступал до путча на большом митинге (я стоял рядом с Ельциным и с интересом замечал, как он вслушивается и всматривается в аудиторию, ища и тогда находя, что ей сказать). На съездах я внимательно следил за диалогом Сахарова с Горбачевым. Я был и на совещании перед началом второго съезда, когда Сахаров (только что подписавший с Афанасьевым, Ельциным и Поповым свое обращение по поводу необходимости изменить конституцию) добивался от Горбачева немедленной отмены статьи о руководстве партии. Горбачев уверял нас, что он хочет того же, что и мы (в то время так, наверное, и было), Но знает, как это лучше сделать: партия сама

должна принять решение об этом, а потом уже мы примем закон. Горбачев был умелым политиком (этим он отличался ото всех, за кем я тогда наблюдал), искушенным в тактических маневрах и лавировании, но в конце концов в этих хитросплетениях он и запутался. Сахаров же не был никаким политиком — в его наивности, неловкости и даже неуклюжести и сказывалось его величие.

В конце первого съезда Сахаров придавал большое значение созданию оппозиции. Хотя о намерении ее сформировать на съезде заявил Г. Х. Попов, потребовалось много Напоминаний от нас каждому из естественно подобравшихся лидеров, таких, как Ю. Н. Афанасьев, прежде чем наконец мы пошли в гостиницу «Москва» на первое собрание будущей «межрегиональной» группы (такой она стала, чтобы защититься от обвинений в ограничении ее только московскими депутатами: к этому времени название «московский» для большинства съезда звучало одиозно!). Я старался не пропускать и последующих ее общих собраний, и некоторых встреч ее руководителей, на которые меня иногда приглашал ее секретарь А. Мурашов. Впрочем, когда однажды и еще один из активистов группы особенно деятельно меня зазывал на встречу и подвел к дверям нашего помещения, они оказались запертыми, а Мурашов, появившийся в них, смущенно объяснил, что в этот раз они хотели бы лучше поговорить без свидетелей. Я увидел в этой кажущейся случайности подтверждение того, что мне там делать нечего. На тех собраниях, где я бывал, как мне казалось, избегали общих вопросов. Оживленно говорили о поддержке Гдляна, а когда я по этому поводу предложил обсудить в целом проблему независимости прокуратуры, председательствовавший Афанасьев строго попросил не выходить за рамки темы. Когда Сахаров разработал свой план организации Союза с уравнением в правах союзных и автономных республик (что в принципе могло бы помочь предотвратить многие конфликты, сейчас обострившиеся), его текст был отредактирован до обессмысливания. На очередном собрании группы я по этому поводу выступил и Сахаров меня поддержал, но дальше обсуждения не было.

После смерти Сахарова движение стало дробиться. На последнем заседании, где я был, в начале осени 1990 г. я уже заметил проявление множества расхождений — и политических, и национальных.

Уже и на первом съезде, хотя он был свободнее четырех последующих, выступить было очень трудно. При всем желании деятельно участвовать в обсуждении я мог только вставлять реплики (например, о способе принимать решения без

голосования) и задавать вопросы. При обсуждении кандидатуры Генерального прокурора я спросил кандидата (тут же утвержденного) об его отношении к ссылке Бродского (судя по его послужному списку, он мог иметь к ней касательство). Он уклонился от прямого ответа. Наша соседка по дому, как все следившая за съездом по телевизору и едва ли до того о Бродском слышавшая, встретила меня у подъезда сочувственно: «А он Вам так и не ответил».

Когда было предложено, чтобы часть депутатов работала постоянно в Верховном Совете, я согласился баллотироваться, но меня (как и большинство московских депутатов из будущей оппозиции) не выбрали. Я оказался в Верховном Совете депутатом от России только в последнем его составе после провала путча. Но этот Верховный Совет уже не работал: в декабре еще до распада СССР и прекращения наших депутатских полномочий (мы должны были бы работать до 1994 г.) Россия нас отозвала. Уже после этого я был на последнем призрачном нашем заседании. На нем председатель нашей палаты В. Лукин (к тому времени отозванный, как мы все) осторожно говорил, что мы могли бы еще поработать. Это было правдой, но уже было поздно. Нас не слушали. От двух с половиной лет прерванного депутатства у меня осталось ощущение недовостребованности. Нашим предложением услуг никто не воспользовался.

Когда нас выбрали депутатами, один из хороших знатоков русской истории мне правильно предсказывал, что мы будем похожи на парламент с небольшой оппозиционной группой и что нас разгонят. Интересно, что наш разгон прошел достаточно незаметно, хотя перед ним произошли события, как мне кажется, проверившие дееспособность нашего депутатского состава. На второй день августовского путча я перед митингом условился о встрече с несколькими депутатами, находившимися внутри Белого Дома. Выступая (после Евтушенко и перед Боннэр) с балкона Белого Дома, я объявил, что депутаты встретятся в своем депутатском здании на Проспекте Калинина после митинга в 3 часа дня, чтобы условиться, как добиться немедленного созыва Съезда депутатов для объявления путча незаконным. Депутатов было больше двух тысяч, а на эту встречу пришло немногим больше двадцати (многих не было в Москве, некоторые боялись быть арестованными за пределами Белого Дома). На следующий день их было больше, к концу путча и недели росло число пожелавших к нам присоединиться.

В тот первый раз, когда нас было еще совсем немного, я был среди вызвавшихся пойти объясниться с Лукьяновым. Он принял нас очень быстро — в пять часов мы были у него. Он стал нам

подробно объяснять, почему сразу созвать съезд нельзя. Для принятия решений, например, о замене Горбачева (многим показалось, что он подумывает о себе), нужно не меньше двух третей депутатов, а он по опыту знает, что на это уйдет не меньше пяти дней. Он доказывал нам, что на митинге в тот день людей было мало и что генерал Лебедь не поддерживает тех, кто в Белом Доме: вот он выступит по телевизору, и все узнают, на чьей он стороне. Среди прочего (как мне показалось, в основном вранья) он упомянул что у него есть заключение о состоянии здоровья Горбачева. Я на это сказал, что в таком случае необходимо без промедления это напечатать, народ ждет. Лукьянов закричал на меня: «Не говорите мне о народе!» Я возразил ему, что нас выбрал народ и его тоже. Он продолжал вопить: «Ничей я не слуга!» Несколько опешившие депутаты, смущенные моим невежливым поведением, еле его утихомирили. Через несколько дней я был на расширенном заседании Президиума Верховного Совета, по настоянию нашей группы неохотно отстранявшего его от обязанностей председателя. Я ему напомнил как он на меня кричал. Он признался в своей неправоте.

Впечатления от этих дней я тогда же описал в стихах, которые таким печатным органам, как «Знамя», где я состою в редакционном совете, не показались своевременными:

Хасбулатов Лукьянову звонил о штурме
Белого Дома. Я сидел у того в кабинете
На второй день путча в Кремле, и тюрьмы
Гадали, кто попадет в них: те или эти.

В Александровском саду солдаты цепью
Рассыпались. Мимо них прошли депутаты,
Чтобы военному великолепью
В центре города помешать попытаться.

Кремль был пустынен, как после взрыва
Нейтронной бомбы. Не слышно ни звука.
Соборы свидетельствуют молчаливо.
Вглядываясь — дальнозорко или близоруко?..

Знаете, соборы, что ближе к рассвету
Патриарх помолится: пусть не будет братоубийства.
Но кто услышит молитву эту
Самой бессонной ночью российской?

Лукьянов Хасбулатову: «Мне сказал Язов,
Что штурма не будет». Но все это — враки,
И в Белом Доме не хватало противогазов
На случай химической их атаки:

Применили бы черемуху, а на крышу
Высадили бы десант воздушный...
Трехцветный флаг поднимайте выше!
Нас не пересилят, нас не удушат.

Мы говорили с балкона Белого Дома,
И, словно на дне рождения, друзья были с нами тоже.
Русская история начинала выглядеть по-другому,
Об этом позаботились лучшие из молодежи,

С утра девятнадцатого строившие баррикады
Не по приказу, а потому, что — дальше не пустим!
Не будет отката, не испугают бригады
Кагэбэшников, и перед устьем

Свободы, впадающей в Москва-реку, мы остановим
Танки, бронетранспортеры и группу «Альфа».
На асфальт прольется кровь, и над изголовьем
Погибших — неказистые цветы: ромашки да мальвы.

А зимой, говорят, будет голод,
Иностранная помощь, карточки, подорожанье.
Но тюрьмы шатаются, но лед расколот.
Мы — граждане России, а не каторжане.

Когда путч провалился, я продолжал ежедневно, как и в предыдущие дни, участвовать в собраниях нашей группы депутатов, оказавшейся действенной в трудные дни. Я приготовил для обсуждения проект декрета о свободе от страха. В нем речь шла о роспуске КГБ и мерах по обеспечению истинных свобод. Я показывал текст депутатам, считавшимся либеральными или демократическими. Часть из них отказалась всерьез о нем говорить, называя его нереальным или наивным. Единственный человек, прямо выхвативший у меня мой проект и сказавший, что он думал о чем-то похожем, был Бакатин, только что назначенный министром этого заведения и собиравшийся сильно его сократить. Я его увидел в приемной Горбачева, куда меня попросили приехать в воскресенье через три дня после его возвращения из Фороса. Горбачев то ли в самом деле был в

полувменяемом состоянии, то ли прикидывался: поговорить с ним не удалось. А с Бакатиным мы толковали долго. Мы коснулись и убийства отца Александра Меня, которого я близко знал (последний раз он заезжал ко мне на работу в Библиотеку иностранной литературы всего за несколько дней до своей гибели, мы обсуждали с ним ситуацию в стране, он сказал мне: «Горбачев выскочил на ходу из поезда, который идет под откос», он имел в виду партию, но теперь его слова можно понимать и расширительно). Я спросил Бакатина, не мог ли кто-нибудь в тогда им возглавлявшемся министерстве на уровне заведующих отделами быть замешанным в убийстве. Он ответил: «На этом уровне — нет, а вот на самом высоком уровне...» Я после этого написал повторный депутатский запрос двум министерствам о ходе расследования. Его подписало и еще несколько депутатов, среди них Попов и Аверинцев. Нам ответил какой-то чиновник длинно и невнятно, поразило меня в его ответе то, что «из-за применения недозволенных мер при ведении следствия» (это уже в наше-то время!) какие-то невиновные в убийстве люди дали ложные показания о том, что они в нем замешаны. Кому это было нужно и почему совсем недавно мы узнали, что следствие по делу отца Александра Меня прекращено? Я теряюсь в догадках, в любом случае неблагоприятных по отношению к тем министерствам и государственным деятелям, которые отвечали за это следствие или обещали следить за его ходом.

Отец Александр был из числа немногих известных мне людей православной церкви прежнего времени, никак не причастных к прошлому режиму. В архивах найдено письмо Андропова (тогдашнего министра ГБ) середины 1970-х годов, где об отце Александре говорится как о главном враге государства в православной церкви (из-за его экуменических устремлений или приписывавшихся ему намерений что-то делать в этом направлении, которое и сейчас становится все менее популярным по мере роста националистических настроений). Отец Александр был обуреваем планами реальной общественной деятельности. Я помогал ему в создании общества «Культурное возрождение» и по его просьбе стал первым его председателем. По его мысли оно должно было отделить полностью восстановление русской и других национальных культур от шовинизма. В этом духе он провел в нашей Библиотеке свою беседу на людях с приехавшим специально[1] для этого мусульманским священником. Они обсуждали общее в отношении к Богу, что могло бы объединить приверженцев разных религий. В молодости отец Александр, когда я впервые его встретил, светился веселостью (есть кадры, снимавшиеся Каликом для его документального фильма ***о*** любви,

где запечатлен этот ослепительно лучезарный облик). В последние годы я видел на нем отсвет предстоявшего мученичества, на него легла тень будущей беды.

Я невольно сравниваю его судьбу с участью польского католического священника Попелюшко. На его проповедь меня привели мои друзья, входившие в Солидарность, тогда еще подпольную: я приехал в Польшу (благодаря настойчивости варшавских коллег, с которыми мы занимались афазией: они добились от московского начальства разрешения на мою поездку) сразу после отмены военного положения. Когда мы подходили к собору, над ним кружился военный вертолет. Собор постепенно окружали ряды милиционеров. Меня познакомили с Попелюшко. Он обо мне слышал от общих друзей. Проявил большую заботливость. Перед началом проповеди нашел меня внутри собора, спросил, не повредит ли мне, что я на виду, может, лучше встать в более укромное место. Его проповедь была откровенно политической. За словами двух священников следовало то, что я не видел и не слышал раньше. Мы бы назвали это религиозным музыкально-поэтическим вечером. Все собравшиеся (а их было множество: на праздник Богоматери Ченстоховской пришли группы рабочих из разных городов) вместе пели религиозные гимны и патриотические песни, их текст высвечивался на транспарантах. Перед тем, как мы разошлись, настоятель собора нас предупредил, что надо соблюдать осторожность. После того, что мы слышали в храме, все должны вести себя достойно. Его напутствие произвело впечатление. Через ряды милиции проходили спокойно. Но в следующий раз, когда я спустя три года проездом через Варшаву был в этом храме, я видел уже не Попелюшко, а его могилу.

Борьба с тоталитаризмом совсем не бескровна. Погибли Мень и Попелюшко. Погиб и Сахаров. Он прожил бы много дольше, если бы не перенесенные им надругательства в горьковских больницах (когда я увидел его после возвращения из ссылки, перемена в нем меня потрясла: он долго отходил после испытанных им страданий).

26

В начале первого съезда предпринимались попытки сформировать независимые парламентские комитеты. Е. П.'Велихов, знавший меня по работе в Научном Совете «Сознание», предложил мне войти в Комиссию по контролю за армией и КГБ. Я ему излагал свои мысли о необходимости демилитаризации нашего общества. Он говорил уже и другим депутатам, что я буду работать в его комитете. А кончилось дело

тем, что и сам Велихов не возглавил комитета и я в него не вошел

Из нескольких комитетов и комиссий, где я соглашался работать, меня включили только в комиссию по языку и культуре. Я стал готовить проект закона о языках. Для участия в нашей небольшой рабочей группе, которую мне поручили, удалось привлечь нескольких хороших лингвистов: специалиста по самодийским и другим уральским языкам Е. А. Хелимского, одного из самых одаренных молодых ученых, продолжавших в нашем Институте славяноведения направление Иллича-Свитыча, В. П Григорьева, с которым мы когда-то работали вместе в журнале. Наибольшей и неожиданной для меня трудностью оказалась необходимость преодолеть традицию, унаследованную от прошлого времени: все законы готовились небольшой группой чиновников-юристов, совсем не знавших предмета, о котором шла речь в проекте. Согласовать их действия с нашими было трудно. Но нам это удалось и наш проект был принят съездом осенью 1990 года, хотя через год с небольшим после развала Союза вся проделанная нами работа потеряла смысл. По тому, как нам в своей группе, на комиссии и при более широких обсуждениях удалось разрешить противоречия, я видел что тогда еще оставались очень большие возможности не разрушать полностью сложившиеся связи между частями всего сообщества или содружества республик. Правда, я получил сердитое письмо от эстонских коллег по поводу места, которое в нашем законе отводилось русскому языку как средству общения. Но я думаю, что найденный нами баланс между русским и другими языками был относительно объективным. Я всегда вспоминаю одну поездку в Вильнюс еще до начала реформ. После очередной прочитанной мной лекции по балтийской мифологии литовские друзья мне сказали, что меня хотел бы видеть один из литовских националистов-подпольщиков, скрывающихся в лесах. Я высказал опасение, что его могут арестовать, если увидят в моей гостинице. Мы встретились возле нее и довольно долго разговаривали с ним на прогулке. Он сказал мне, что он и его друзья с пользой для себя читают работы по балтийской филологии, которые мы печатаем в Москве (к тому времени в нашем Институте удалось наладить регулярную серию по этой области исследований). Более того, сказал мне мой собеседник, для нас русский язык — главный способ получения сведений о внешнем мире. Иностранные книги до нас не доходят, мы все читаем в русском переводе. Это свидетельство значимости русского языка, услышанное от литовского патриота-националиста, для меня остается ориентиром, когда приходится обсуждать такие проблемы.

Мое участие в комиссии по языкам и культуре оборвалось за несколько месяцев до путча. С поправением состава и направления Верховного Совета (который с самого начала не страдал от избытка демократических симпатий) большинство членов межрегиональной группы были выведены из комиссий. Я разделил общую участь, хотя меня никто не удосужился об этом известить и мои бумаги и книги еще долго оставались в пустовавшем рабочем кабинете на проспекте Калинина.

После первого съезда я был включен в группу депутатов, посланную в Абхазию по просьбе руководителей тамошнего национального фронта. Конфликт между абхазской и грузинской частью населения автономной республики обострился из-за раскола Сухумского университета, разделившегося по национальному признаку. Грузинские профессора отказались работать вместе с абхазами и выделились, объявив себя отдельным учебным заведением для грузин, куда студентов собирались принимать из всей Западной Грузии. Мы провели в Сухуми несколько очень напряженных дней, встречаясь с разными группами жителей и с местным начальством, а потом еще ездили в Тбилиси для разговора с новым первым секретарем компартии Грузии (во время несчастных апрельских событий он был министром ГБ республики).

Мое положение в начавшемся конфликте было между двумя лагерями: абхазы (особенно молодые и фанатичжге) относились ко мне с беспокойством, зная о моей дружбе и совместной работе с известным грузинским лингвистом Тамазом Гамкре- лидзе: мы с ним вместе издали по-русски в Тбилиси в 1984 г. двухтомную книгу «Индоевропейский язык и индоевропейцы», за которую спустя четыре года получили Ленинскую премию. Грузинская же часть спорщиков в Сухумском университете боялась, что я не буду объективным, потому что один из лидеров абхазского национального движения Владислав Ардзинба (тот самый, который показывал нам с Сахаровым эшерские кромлехи) был моим учеником. Если бы они поинтересовались моими занятиями, они могли бы еще узнать, что и я учился у Ардзинба его родному языку (я занимался и с абхазскими крестьянами, когда бывал в их краях) и пробовал доказать его связь с языком хаттов в древней Малой Азии. А о Грузии я писал не только научные сочинения, но и много стихов, часть которых печаталась в «Литературной Грузии». Сам я считал, что приверженность к двум этим культурам и языкам делает меня достаточно нейтральным в споре, который нам предстояло помочь разрешить. Наше предприятие не увенчалось успехом. Грузинские профессора не хотели вернуться в университет, где преподавание

шло в основном на русском языке и где учились не только абхазы и русские, но и другие жители края, очень пестрого по этническому составу населения. Я достаточно резко осуждал грузинскую часть профессуры за их раскольничество, но ругал и абхазских радикалов, норовивших обозвать грузин «меньшевиками» (что в моих глазах нисколько их не умаляло). Когда же мы приехали в Тбилиси, оказалось, что до нас у первого секретаря побывала делегация сухумских грузин, привезших на меня донос (в просторечии «телегу», потом такие же тексты в большом количестве посылались в Москву). Я особенно всех их разозлил упоминанием языковых различий между грузинами и менгрелами, составлявшими большую часть картвельского или южнокавказского (но, строго говоря, не грузинского) населения Абхазии (в развязавшемся потом кровавом конфликте менг- релы и сваны поддержали собственно грузин в их войне с абхазами). После того как я дал интервью по этим вопросам, тбилисская печать и телевидение подняли против меня настоящую кампанию. В ней приняли участие и некоторые из прежних моих приятелей и приятельниц. В газетах появились увлекательные открытые письма ко мне, содержавшие и вполне справедливые суждения: например, что моя внешность не годится для актера! Свои переживания этой поры я постарался сублимировать в романе «Нисхождение в Диоскурию», который я сейчас дописываю.

Едва ли не последний мой разговор с Сахаровым на втором съезде дня за два до его смерти касался как раз национальных конфликтов в Грузии. Он говорил мне, что не может сам выступать по поводу волновавшего его обострения осетино-грузинского спора, в котором он винил грузинскую сторону. «Они и так на меня обижены», — сказал он мне (незадолго до того он высказался в печати о грузинском империализме).

Мои попытки не встать ни на чью сторону, а добиваться примирения, кончились неудачей и по отношению к армяно-азербайджанскому спору. Я очень беспокоился о возможном его исходе. После обсуждения с М. Ульяновым во время одной из репетиций в театре Вахтангова (где он меня включил в Художественный Совет) я поехал в редакцию «Известий» и написал там текст обращения, который кроме нас двоих подписали В. Каверин и С. Аверинцев (позднее он в печати открещивался от этого текста, который подписал после того, как я привез его к нему в больницу). Не только один из его подписавших, но и те армянские деятели культуры, от которых я получил отклик, с письмом не согласились, считая его не направленным против азербайджанской стороны, но я и не хотел этого.

Меня поразила взаимная несправедливость доводов двух сторон в самом начале спора о Нагорном Карабахе. Меня разбудил рано утром звонок чиновника из Отделения истории Академии наук, к которому относится наш Институт славяноведения и балканистики. Он просил меня быть в тот же день на заседании, на которое вызваны все директора гуманитарных институтов Академий наук закавказских республик. Меня приглашали как специалиста по древней истории этого региона. На совещании были не только гуманитарии, многих из которых я хорошо знал по * научным конференциям. Наука Азербайджана была представлена и известным палеонтологом. Впервые после большого перерыва (если не считать короткого разговора с писателем Домбровским, поразившим меня своими познаниями) я столкнулся с любимой наукой своего детства. Палеонтолог вынул из кармана своего по-европейски хорошо сшитого пиджака какую-то кость и стал ею воинственно размахивать, увлеченно нам доказывая, что животное, которому кость принадлежит, относится к азербайджанскому палеолиту (сочетание слов смехотворно, потому что азербайджанцы появились на этой земле несколькими археологическими эпохами позже). Но немногим лучше были и возражения его армянского коллеги: «Ничего подобного, палеолит — армянский» (абсурдность этого очевидна мне, хорошо знающему, что никаких армян не было как отдельного этноса до их обособления из индоевропейской общности, а ее от палеолитической кости отделяют многие десятки тысяч лет!). Я был в отчаянии от бессмысленности этих псевдонаучных споров, не имевших никакого отношения к трагедии Карабаха. Я думаю, что роль истории в решении современных вопросов должна быть минимальной: о ней надо помнить (особенно о ее уроках, предостерегающих от повторения ошибок), но существенны люди сегодняшнего дня, а не животные позавчерашнего.

Я всегда был противником русского национализма и шовинизма. Мне кажется, что он прежде всего умаляет величие России, которая больше просто нации. Услужливые медведи вроде Шафаревича изображают нас этакими недотепами, которых легко унизить и обидеть. Может быть, это относится к ним, но не к тем русским, которые своим долгом считают сохранить и передать в будущее ослепительное сияние русской славы, которое никакой Шафаревич не сможет от нас отнять. Мы никогда не станем индейцами из резервации, волнующимися за свою оскорбленную честь. В недавнее время мне приходилось писать против антисемитизма и шовинизма и в предисловии к публикации романа Горенштейна «Псалом» в «Октябре», и в

заметке «Пока не поздно». Она была вызвана письмом черносотенного свойства, подписанным и людьми, которых я знал раньше. В своем отклике я обращался к Леонову (он дружил с моим отцом до войны, я часто бывал в его доме в детстве) и Шафаревичу, с которым когда-то познакомился у Пастернака и потом виделся не раз и вместе подписывал требование вернуть гражданские права Солженицыну. Мою заметку с этими обращениями не поместили ни «Известия» (хотя они ее сперва вроде как ждали), ни «Московские новости». Месяца через два после блужданий по редакциям ее напечатали в «Литературной газете», но вынули из нее стихи, для меня существенные (они написаны больше пятнадцати лет назад):

В подворотне убили Михоэлса
И застряли на улице тени.
Как ты хочешь, чтоб я успокоился?
И тебя сторожит преступленье.

Служат белому красному знамени
Верой-правдою черные сотни
И проваливают на экзамене,
Как душили вчера в подворотне.

Что теперь называется родиною?
Речь осталась от простонародья.
Так последний ручей изуродованный
Жив лишь памятью о половодье.

В конце июля 1991 года очевидность готовившегося путча стала особенно ясной, когда появилось так называемое «Слово о Полку Бондаревом», подписанное примерно той же компанией, что и текст, на который я за год до того откликнулся своей заметкой. К тому времени я оказался членом правления того самого Союза писателей России, от имени которого все чаще стали сочиняться подобные черносотенные листовки. Мое избрание произошло на очередном съезде российских писателей. Я провел день на этом съезде и мог убедиться, что люди просвещенные были там в меньшинстве, тон задавали сочинители вроде Д. Жукова, которого я помню еще в форме КГБ, когда он в этом заведении занимался машинным переводом и приходил по этим делам в Институт точной механики и вычислительной техники, где я тогда работал. Мою кандидатуру в правление на съезде выдвинули московские переводчики, Секцию которых я тогда возглавлял. Большинство съезда меня не знало, но оценило

бесспорно русское звучание имени, отчества и фамилии. Поэтому, вычеркивая из списка кандидатов всех подозрительно выглядевших, «Булатов» и «Белл» меня оставили. Я был приглашен в качестве члена правления на пленум, состоявшийся сразу после путча (вероятно, его планировали как пленум победителей). В начале заседания появился посланец от префекта округа с распоряжением закрыть это учреждение за противоправные действия. Председательствовавший, продолжавший ничего про меня не знать, кроме моего имени и звания народного депутата СССР, объявил, что мне срочно предоставляется слово. Я же не оправдал его ожиданий и поддержал действия префекта округа, резко выступив против подписанного Бондаревым и Прохановым вместе с Варенниковым и несколькими будущими членами ГКЧП «Слова к народу» и всех изданий этого же черносотенного направления. После этого я сразу же поехал на заседание Верховного Совета, где выступил по этомуже поводу после приехавшего с этого же пленума правления В. Белова (мы стояли с ним друг за другом у микрофона, как перед этим, обгоняя друг друга, ехали на своих депутатских машинах с пленума правления писателей в Кремль). Белов жаловался Верховному Совету на действия властей, закрывших Союз писателей России (его строго говоря в тот день никто, к сожалению, не закрыл, они отделались испугом), а я в своем ответе Белову назвал эту организацию фашистской, процитировав в качестве подтверждения несколько изданий, которые мне перед пленумом вручили как члену правления. Белов, проходя мимо меня, шепнул злобно и растеряв всю былую прелесть дивной речи восхищавших нас первых своих рассказов: «Я в суд на Вас подам!» Вскоре после этого я прочитал в газете два касающихся меня постановления пленума так и не закрытого правления: о «приостановлении» моих обязанностей члена правления и о возбуждении против меня судебного дела. Но повестки в суд я не получил. То ли помогло то, что я еще был народным депутатом, то ли само обвинение было бы труднодоказуемым: ведь нельзя опровергнуть то, что прохановские и другие подобные им издания — фашистские.

27

Когда меня выбрали депутатом, я получил возможность больше делать для выяснения возможностей упрочения связей нашей страны с Западом. Еще перед этим, когда я начал ездить с лекциями в Америку, я быстро убедился в том, что там есть много деловых людей, в таких связях заинтересованных. В Йэйле я читал осенью 1988 года лекции на кафедре, специально

учрежденной бизнесменом Фоксом для русских профессоров. Сам Фокс в это время ездил в Россию и учил русский язык, на котором сказал несколько приветственных слов моей жене и мне на приеме, устроенном, когда он вернулся из СССР. Мне пришлось на этом приеме прочитать ему целую лекцию по русской истории, которой он заинтересовался. Тогда же я понял, что таким, как он, деловым людям мешает позиция американского правительства, долгое время не менявшаяся. В первый свой приезд в Вашингтон среди других влиятельных людей я долго говорил с лидером тогдашнего демократического большинства в Палате представителей Гепхардтом. Мы с ним быстро нашли общий язык, я рассказывал ему о популярности у нас в военное время Рузвельта, бюст которого стоит у него в кабинете. Он согласился с моими предложениями (мне и тогда, и потом казалось нужным подобие плана Маршалла) и обещал поговорить по этому поводу на следующей неделе с государственным секретарем Бейкером. Как я много позже узнал, тот советовал пока подождать. Америка ждала долго, по-моему слишком долго, все больше проигрывая от этого ожидания. Гепхардт остается сторонником расширения связей с Россией и при новой администрации (хотя теперь он лидер меньшинства).

Я тщетно говорил о том же зимой этого же (1989-го) года с тогдашним американским послом Мэтлоком. Мы столкнулись с ним в декабре в директорском кабинете в Театре Ленинского комсомола по окончании спектакля «Поминальная молитва» по Шолом Алейхему. Марк Захаров, поставивший этот спектакль, был моим соседом по алфавитному размещению (он на З, я — на И) московских депутатов на съезде. По этой же алфавитной причине впереди в следующем ряду сидел Б. Н. Ельцин, с которым мы часто переговаривались (утром я шел на съезд через Александровский сад, и, видя мой депутатский значок, кто-нибудь из толпившихся в нем обязательно передавал мне письмо или пакет для тогдашнего народного любимца, я часто перед началом заседания эту утреннюю почту доставлял адресату), М. Захаров пригласил несколько депутатов из нашей алфавитной подгруппы, в том числе и меня и Ельцина, на этот спектакль. Там я и разговорился с Мэтлоком. На мои слова о том, что если экономически новая русская демократия не будет поддержана, последует военный переворот, Мэтлок отозвался: «Но нам говорят, что в этом случае внешняя политика все равно не изменится» (что-то похожее в тот же день я слышал и от одного иностранного корреспондента, из этого видно, как задолго готовился августовский путч).

Я не могу сказать, что все государственные люди в Европе так

же медленно реагировали на наши перемены. Но мешкали и у нас. Когда я был в Париже (в тот раз, когда левые в клубе писателей не хотели слушать мои прогнозы), мне устроили встречу с одним из вцдных людей во французском парламенте. Он говорил мне довольно конкретно о возможности налаживания сотрудничества с нами в области телевидения (технически во Франции оно на очень высоком уровне). По приезде в Москву мне удалось передать это одному из тех наших высокопоставленных лиц, кто по своей должности эту возможность мог бы быстро осуществить. Но у меня не было впечатления, что наши чиновники тогда были готовы сдвинуться с места. Но при всей этой бюрократической глухоте и у нас, и на Западе, или именно из-за нее, неофициальные или полуофициальные разговоры могут оказываться полезнее прямых переговоров или готовить для них путь.

Но чаще всего если что-то и удавалось делать, то или вопреки государственным учреждениям, или в обход их. Я в начале уже упоминал о помощи библиотекам. Другим примером может быть фонд Сороса. С ним у меня были и очень острые споры, я говорил с ним иногда предельно откровенно и резко, но ему и это понравилось (или он и это простил), и он меня пригласил в правление своей Культурной инициативы, где я проработал четыре года. Я занимался там и распределением грантов на образование, < и поддержкой изданий по гуманитарным наукам. Я писал Соросу письмо о возможной помощи и некоторым литературным изданиям, и он сделал это. Какие бы помехи он ни испытывал от часто нерадивых или недобросовестных сотрудников, запомнится не это. Я уверен, что со временем русская культура найдет способ поблагодарить Сороса за все, что он для нее совершил. А для меня близкое знакомство с ним и работа в его фонде имели еще и другой смысл. На примере Сороса, и вышеупомянутого основателя амстердамской Библиотеки герметической философии Ритмана, и нью-йоркского издателя Гордона, выпускающего по-английски под моей редакцией журнал «Элемента», призванный продолжить традиции московско-тартуской школы, я начал понимать то, что раньше недостаточно осознавал. Частный капитал и в наше время может оказываться не менее деятельным в поддержке наук и искусств, чем в те времена, когда стецэая европейская и русская предреволюционная культуры только еще начинали складываться в большой степени именно благодаря этому фактору. По матери и сам я родом из московских купцов, но ее предки (за исключением моей бабушки, с этой средой порвавшей) не были особенно просвещенными, оттого, может быть, и я смолоду недостаточно

ценил и русское купечество, и его европейские аналоги. Очень существенными оказываются и личные свойства капиталистов, особенно сверхбогатых (как в приведенных примерах). Среди них я встречал людей с очень хорошим и иногда предельно широким (почти как в русской традиции!) образованием и с пониманием многого, что, как правило, остается недоступным государственным деятелям.

Я сам впитал с юности ростки русского бунта и либерального анархизма. Поэтому в государстве (даже когда разум велит мне ради общего дела с ним сотрудничать) я склонен всегда видеть потенциального врага, а в политике (как бы меня время от времени в нее ни заносило) — грязь и осквернение. Но поэтому я не могу не заметить, что частный капитал может быть полезным дополнением к государству, если только они не сливаются друг с другом (что я с неудовольствием наблюдаю в последнее время у нас в России). Экономическая свобода стоит в одном ряду со свободой слова, печати, собраний, хотя в России многие демократы по традиции не хотели этого признавать. В этом смысле новым отрадным явлением мне кажутся современные образованные молодые люди, иногда владеющие небольшим издательством или малым предприятием.

У нас в России после эмиграции Леонтьева (мы как-то с ним встретились и он мне говорил, что при немыслимой трудности наших проблем провал наших реформ был бы таким несчастьем для всего мира, что он надеется на лучший исход вопреки всему) и гибели Кондратьева, убитого Сталиным, совсем нет экономической науки. Я был знаком с единственным мне известным исключением — Канторовичем, лауреатом Нобелевской премии по математической экономике (только установленной, когда он ее получил). У него был ясный здравый ум (я слышал его рассуждения о том, как эффективнее заниматься машинным переводом). Капица мне рассказывал про их разговор во время поездки в Швейцарию на симпозиум Нобелевских лауреатов. Капица спросил у Канторовича, чем объяснить то, что наша система все еще не рухнула, что ее спасает (это было во времена Брежнева), Канторович ответил: черный рынок, перераспределяющий «налево» то, что иначе оставалось бы во владении правящей верхушки. Если он был прав, то происходящее сейчас можно было бы считать, с одной стороны, легализацией, узаконивающей и без того существовавший жульнический капитализм, с другой стороны, опасным устранением перераспределения: соединение в одном лице номенклатурщика и дельца (как правило, с очень низким образовательным уровнем и минимальным интеллектом) дает

ему большие деньги, которые он к тому же может отправить в заграничный банк, изымая их из оборота в стране. Результаты отчасти очень похожи на Латинскую Америку. Я заметил это еще четыре года назад, побывав в Бразилии. Странная смесь казнокрадства, взяточничества, откровенного разбоя и наживы не укладывается ни в какие схемы Кейнза или других мыслителей и ждет своего первописателя, который бы много объяснил в современном мире (особенно третьем), не только в нашей стране.

28

Я прожил шестидесятипятилетнюю жизнь, за которую благодарен. За то, что мне довелось видеть больших людей предыдущих поколений, которые еще несли в себе огневой заряд начала века и не позволяли мне мерить достоинства людей и их дел иначе как по своей шкале. За болезни, трудности и испытания, особенно в военные годы, которые не дали изнежиться и избавили (как я надеюсь) от снобизма среды и цинизма времени. За неожиданность постоянных совпадений, все время соединяющих разные куски жизни и прошивающих их, спаивая воедино. Я с юности увлекаюсь книжками о доколумбовской Америке, потом участвую в работе по дешифровке кодексов майя, а по дороге на Кубу хожу у ацтекских пирамид Теотихуакана возле Мехико-сити. Перевожу студентом стихи Байрона о прощании с Ньюстедским аббатством и здороваюсь с ним уже на склоне лет, оказавшись рядом на симпозиуме по случаю столетия Ахматовой. Пишу работу о Китсе в университете, а под старость выхожу в Риме из гостиницы и вижу перед собой площадь Испании, на которой дом Китса, где он умер. А в Женеве меня поселили напротив музея, где археолог-вьетнамец выставил найденные им предметы бронзового века Таиланда, которыми я занимался в работах о названиях металлов. Этот список слишком длинен, его приходится оборвать. Когда я ехал с Пастернаком в такси в день его исключения из Союза писателей, я стал говорить ему (главным образом, чтобы отвлечь его от грустных мыслей) об одном из таких совпадений: часом раньше сын Ивинской, только что приехавший с Кавказа, рассказал мне об участии в находке археологической экспедицией, где он был рабочим, колесницы именно того типа, которым я уже тогда занимался в связи с миграциями индоевропейцев. Пастернак живо на это откликнулся: «Я только так и живу. Меня упрекают в том, что в «Докторе Живаго» много случайных встреч. Но так всегда было в моей жизни». Мне казалось, что именно эти неожиданности в жизни несут информацию. И оттого нужны для понимания ее смысла. Для

дешифровки.

Ноябрь 1989 — сентябрь 1994